

Сёрен  
КЪЕРКЕГОР



Евангелие  
страданий

PHILOSOPHY

Кьеркегор (Neoclassic)

Сёрен Кьеркегор  
**Евангелие страданий**

«Издательство АСТ»

1843, 1844

УДК 1(091)(489)  
ББК 87.3(4Дан)

### **Кьеркегор С.**

Евангелие страданий / С. Кьеркегор — «Издательство АСТ»,  
1843, 1844 — (Кьеркегор (Neoclassic))

ISBN 978-5-17-155499-6

Сёрен Кьеркегор (1813–1855) – датский философ, теолог, писатель и критик – по праву считается предтечей и одновременно основателем европейского экзистенциализма. Книга содержит религиозные тексты Сёрена Кьеркегора, в которых автор обсуждает избранные цитаты Священного Писания. С удивительной глубиной и проникновенностью размышляет он о существовании человеческого выбора, о времени в его экзистенциальном понимании, о даре и благодарности, о радости и смысле страдания, о вере и о любви. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 1(091)(489)

ББК 87.3(4Дан)

ISBN 978-5-17-155499-6

© Кьеркегор С., 1843, 1844  
© Издательство АСТ, 1843, 1844

## Содержание

От переводчика	6
Девять бесед	9
Две назидательные беседы	10
Предисловие	10
I. Чаяние, присущее вере новый год	10
II. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше	23
Три назидательные беседы	33
Предисловие	33
Любовь покрывает множество грехов	33
Конец ознакомительного фрагмента.	35

# Сёрен Кьеркегор Евангелие страданий

© Перевод. А. Лызлов, 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

\* \* \*

## От переводчика

В книге, которая лежит перед вами, вы найдете работы С. Кьеркегора, посвященные религиозной тематике. Большую часть книги составляют экзегетические работы мыслителя, в которых он размышляет над избранными местами Священного Писания. Эти работы С. Кьеркегор неизменно публиковал под своей собственной фамилией, в отличие от работ философского цикла, всегда имеющих псевдонимическое авторство.

Псевдонимы дают Кьеркегору возможность говорить с различных условных позиций, и Кьеркегор, заимствуя этот прием у И. Г. Гамана<sup>1</sup>, создает целый многоголосый мир псевдонимических персонажей, выступающих в роли авторов его философских произведений и, явно или неявно, ведущих друг с другом диалог. Авторская позиция здесь, хотя и узнаваемая порой в пронзительной речи того или иного псевдонима, может быть в полной мере услышана лишь через полифоническое взаимодействие разных «голосов».

Напротив, для экзегетических работ С. Кьеркегора характерна тональность личного обращения автора к тому «единственному», кого он «с радостью и благодарностью называет своим читателем». Работы этого цикла он называет Taler, «беседы». Слово Taler – датский аналог греческого *ὁμιλίαις*, гомилии. Беседы Кьеркегора имеют характерную для гомилий структуру: после предисловия (посвящения работы «своему читателю») и написанной самим Кьеркегором молитвы приводится небольшой отрывок из Священного Писания, над которым автор размышляет затем на протяжении всего произведения.

Называя эти работы Taler, «беседы», Кьеркегор не только указывает этим на их принадлежность гомилетическому жанру, но и дает понять, что это *не проповеди*, поскольку их автор не наделен необходимым для проповеди *авторитетом* – то есть не является священником и не имеет церковного благословения проповедовать<sup>2</sup>. Не будучи проповедями, эти работы, – подчеркивает *Кьеркегор*, – ни для кого не обязательны, они обращены не ко «всем», но к «своему читателю» – к тому чуткому человеку, кто, – говорит Кьеркегор, – «читает вслух самому себе то, что я пишу в тишине; кто разрешает своим голосом чары письма, своим голосом изводит из плена то, что немые буквы словно таят на устах и, тщетно силясь сказать это сами, заикаются, произнося лишь несвязные звуки; кто настроен так, что спасает пленные мысли, которые жаждут на волю, – тому чуткому человеку, кого я с радостью и благодарностью называю *моим* прибежищем, кто, делая мое своим, делает для меня больше, чем я для него».

В беседах Кьеркегор раскрывает темы, жизненно важные для человека; он говорит о бытии самим собой, о радости и страдании, о молчании и слушании, о благодарности и о любви. Но центральной темой всей этой серии его работ является тема веры.

«Вера от слышания, а слышание – от слова Божия», – говорит апостол Павел (Рим 10:17). Выходит, само слово Божие созидает в нас слышание! Как такое может быть? Разве способность слышать не должна присутствовать в нас до того, как для нас прозвучит слово Божие, чтобы мы могли услышать его? Как понимать нам слово апостола?

У Кьеркегора мы можем найти мысль, важную для понимания того, что говорит здесь апостол Павел: слышать слово Божие таким слухом, который лишь регистрирует звуки и слова, – значит, не слышать его на самом деле; ведь слово Божие *лично* задевает и уязвляет каждого из нас, и эта уязвленность им и есть его настоящее слышание – слышание, побужда-

---

<sup>1</sup> Иоганн Георг Гаман (1730–1788), гениальный мыслитель-христианин 18 века, работы которого отличаются намеренно сложным построением, во многом является предшественником Кьеркегора, прекрасно знавшего его труды. Работу Гамана с псевдонимами можно видеть, прежде всего, в его полемике с гердеровским «Трактатом о происхождении языка».

<sup>2</sup> Впрочем, известна и проповедь С. Кьеркегора, которую он, будучи магистром богословия, прочитал в 1844 г. в церкви Св. Троицы в Копенгагене. Русский перевод этой проповеди вы также найдете в данной книге.

ящее этому слову отвечать. Именно как личный ответ на слово Божие и рождается, по Кьеркегору, вера, – ответ, который должен иметь силу победить напрашивающиеся при встрече со словом Божиим раздражение и насмешку. Если же, – говорит Кьеркегор, – «слышанное не вызвало у тебя никакого раздражения хотя бы в то мгновение, когда ты обнаружил, как близко оно тебя затрагивает, и когда тебя спасла безусловная преданность; если слышанное не вызвало в тебе желание осмеять его, даже если ты в то же мгновение сердцем принял его, блаженно от всего отрешившись, – тогда весьма сомнительно не просто то, что ты состоишь с этим словом в правильных отношениях, но сомнительно, что ты вообще состоишь с ним в каких-либо отношениях».

Раздражение и насмешка стоят у врат веры потому, что слово Божие есть свидетельство Божьего Царства, которое – «не от мира сего» (Ин 18:36). Мирской ум не может принять это слово; для этого «должен... в мысли и речи произойти такой переворот, такое чудо из чудес, когда жизнь так изменится для человека, что видимое, бывшее для него самым надежным, станет сомнительным, а духовное, разочаровывавшее его своей далекостью, станет самым надежным, бесконечно надежнее видимого».

Значит ли такое понимание веры обесценивание видимого? Вовсе нет. Как показывает Кьеркегор, как раз потому, что видимое для верующего *не является опорой*, что он *не держится* за внешнее, верующий оказывается способен открыться его неиссякаемому богатству и красоте, принимая видимое как щедрый Божий дар. Как пишет Кьеркегор, обращаясь к евангельскому образу полевых лилий и птиц небесных, «никто не имеет права всерьез считать, что то, чему радуются лилия и птица, и все подобное этому, – что все это ничтожно и не заслуживает радости. То, что ты появился на свет, что ты есть, что тебе «сегодня» надлежит быть; то, что ты появился на свет, что ты родился человеком; то, что ты можешь видеть, подумай, ты можешь видеть, что ты можешь слышать, что ты можешь обонять, что ты можешь чувствовать вкус, что ты можешь осязать, что солнце светит тебе – и ради тебя, что, когда оно устает, появляется луна и зажигаются звезды; что приходит зима, и вся природа меняет наряд, изображает незнакомку – чтобы развеселить тебя; что приходит весна, и птицы прилетают огромными стаями – чтобы порадовать тебя, что пробивается зелень, что лес хорошеет и стоит, как невеста – чтобы тебе доставить радость; что наступает осень, что птица улетает не для того, чтобы набить себе цену, о нет, но чтобы не наскучить тебе, что лес прячет свой наряд до следующего раза, то есть чтобы в следующий раз суметь порадовать тебя: и это-то ничтожно и не заслуживает радости! О, если бы я смел браниться; но из почтительности к лилии и птице я не посмею этого сделать, и потому я, вместо того чтобы сказать, что нечему здесь радоваться, скажу, что если все это не заслуживает радости, тогда нет ничего, что заслуживало бы радости!»

Верующий, как показывает Кьеркегор, вообще бесконечно далек от обесценивания чего бы то ни было. Все, что входит в его жизнь, он принимает как часть пути, по которому ведет его Бог; все, включая страдания, даже самые тяжкие. В этом нет пассивности: ведь идти этим путем ему приходится *самому*, – но нет и самонадеянности: он все свое упование возлагает на Бога, Путь веры не допускает никакой обезличенности: каждое мгновение я сам лично отвечаю тому, что преподносит мне жизнь, – отвечаю Богу, ближнему и миру, – ища, чтобы этот ответ был по-настоящему моим, раскрывающим меня в свободе, силе и красоте. Жизнь по вере, – показывает нам Кьеркегор, – это жизнь избыточествующая, жизнь, торжествующая даже тогда, когда обстоятельства предельно тяжки. Кьеркегор показывает это в том числе в своей замечательной работе «Полевая лилия и птица небесная», рисуя перед читателем образ лилии, которой суждено расти в самых неблагоприятных условиях.

Место, в котором этой «лилии предоставлено расти, не просто крайне жалко, но еще, очевидно, и таково, что ее за всю жизнь никто никогда, быть может, не увидит, никто не порадуется ей; ее место и окружение – да, я и забыл совсем, что говорю-то о лилии – столь «отчаянно» жалки, что не просто не будет преувеличением, но даже слишком расплывчатым будет

сказать: послушная лилия послушно смиряется со своим местом и растет во всей своей красоте. Мы, люди, или кто-нибудь из нас, сказали бы, пожалуй, на месте лилии: «Это тяжело, это невыносимо – ведь если ты лилия и прекрасен, как лилия, то быть помещенным в такое место, где ты будешь цвести в окружении столь неблагодарном, насколько только возможно, в окружении, которое словно специально придумано для того, чтобы уничтожить всякое впечатление от твоей красоты – нет, это невыносимо; здесь Творец противоречит Сам Себе!» Вот как, пожалуй, стал бы говорить человек – или мы, люди, – на месте лилии, увядая там от огорчения. Но лилия думает иначе, она думает примерно так: «Я сама не могу выбирать место и условия, в которых я живу, да и не мое это дело; то, что я стою, где стою – на то воля Божия». Так думает лилия, и то, что она действительно так думает – думает, что такова воля Божия, – видно по ней: ведь она прекрасна – Соломон во всей славе своей не одевался так, как она. О, если бы лилия с лилией состязались в красоте, этой лилии должен был бы достаться приз: в ней на одну ступень больше красоты – ведь быть красивой, если ты лилия, не составляет никакого искусства, но быть красивой в таких условиях – искусство. В окружении, где все препятствует этому, в таком окружении в полной мере быть и оставаться самой собой, смеясь над всей силой окружения, нет, не смеясь, – лилия не делает этого, – но пребывая совершенно беззаботной во всей своей красоте!»

Такая беззаботность, о которой на примере лилии говорит Кьеркегор, это беззаботность веры. Важно понимать, что она не только не имеет ничего общего с закрытой, монологической отрешенностью от происходящего, но и прямо противоположна таковой. Это беззаботность в смысле отсутствия даже тени ропота на обстоятельства или желания их изменить, но она же является и той поистине серьезной заботой, в которой живет и обновляется наш «внутренний человек»: заботой о том, «что мир имеет значить для меня, и что – я для мира. «Эта забота не прекращается ни на мгновение, ведь знание, которое обретает в ней человек, не есть безразличное знание. И если он думает раз и навсегда удовлетворить требованиям этой заботы и на том с ней покончить, то внутренний человек рождается в нем мертвым и исчезает вновь. Но если он поистине озабочен, тогда все с Богом будет служить утверждению во внутреннем человеке; ведь Бог верен<sup>3</sup> и не перестает о Себе свидетельствовать<sup>4</sup>. Но Бог есть Дух<sup>5</sup>, и потому Он может свидетельствовать лишь в духе, каковой обретается во внутреннем человеке; всякое внешнее свидетельство от Бога, если о таковом и может идти речь, может точно так же быть и обманом».

Размышления Кьеркегора о вере обладают тонкостью, глубиной, но одновременно и простотой, делающей их доступными и для читателя, не имеющего специальной философской подготовки. Их чтение способно углубить наше понимание человеческой жизни, сделать его более точным, оно способно вдохновлять и воодушевлять нас. Однако сам Кьеркегор в своих беседах постоянно предостерегает нас от того, чтобы оставаться по отношению к слову Божию лишь размышляющими над ним или черпающими в нем мечтательное вдохновение. Слово Божие надлежит исполнять. И потому, читая Кьеркегора, постараемся быть, как говорит столь любимый им апостол Иаков, «исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие сами себя» (Иак 1:22).

*А. Л. Лызлов*

---

<sup>3</sup> 1 Кор 1:9, 10:13; 2 Кор 1:18.

<sup>4</sup> Деян 14:17.

<sup>5</sup> Ин 4:24.

## **Девять бесед**

*1843*

## Две назидательные беседы

*Моему покойному отцу Михаэлу Педерсену Кьеркегору, некогда торговавшему трикотажем в нашем городе, посвящаются эти беседы*

### Предисловие

Хотя эта небольшая книга (названная «беседами», а не проповедями, ведь ее автору не дана власть *проповедовать*; «назидательными беседами», а не беседами для назидания, ведь ведущий эти беседы ни в коей мере не претендует на то, чтобы быть *учителем*) желает лишь быть тем, что она есть, то есть чем-то совсем необязательным, и жаждет, втайне явившись на свет, лишь оставаться сокрытой, все же прощался я с ней не без почти что сказочной надежды. Поскольку она, будучи издана, отправилась – в переносном смысле – в своего рода странствие, я на краткое время позволил себе последовать за нею взглядом. Я смотрел за ней, как она шла одинокой тропой или одиноко по проезжей дороге. После одного-двух небольших недоразумений, когда она была обманута поверхностным сходством, она, наконец, повстречала того единственного, кого я с радостью и благодарностью называю *моим* читателем, того единственного, кого она ищет, к кому она словно простирает руки, того единственного, кто так отзывчив, что дает ей себя найти, кто так отзывчив, что принимает ее, застанет ли она его в мгновение встречи радостным и дерзновенным или «усталым и задумчивым»<sup>6</sup>. – Поскольку же она, будучи издана, в прямом смысле тихо стоит, не меняя места, я на краткое время позволил себе остановиться на ней взглядом. Она стояла, словно неприметный маленький цветок, укрывшийся в огромном лесу, который не выдает себя ни особым великолепием, ни ароматом, ни образом жизни. Но вот я видел, или словно бы видел, как птица, которую я называю *моим* читателем, вдруг заметила ее, стремглав бросилась вниз, схватила ее и унесла к себе. И увидев это, я уже не видел дальнейшего.

*Копенгаген, 5-го мая 1843 г.<sup>7</sup>*

*С. К.*

## I. Чаение, присущее вере новый год

### Молитва

Минул еще один год, Отец наш Небесный! Благодарим тебя за то, что и этот год Ты соделал временем Твоей милости; и хотя нам придется отвечать за этот год нашей жизни, мы не цепенеем от ужаса, ибо мы вверяем себя Твоему милосердию. Новый год стоит на пороге со своими требованиями, своими задачами; и если мы и вступаем в него обремененными и озабоченными, поскольку не можем и не хотим скрывать от самих себя мысль о похоти очей, прельщавшей нас; о сладости мести, соблазнявшей нас; о злобе, в которой мы были упорны; о холодном сердце, бежавшем прочь от Тебя, – то все же мы вступаем в него не совсем с

---

<sup>6</sup> Эти слова, взятые С. Кьеркегором в кавычки, отсылают, по-видимому, к работе морского офицера Ф. К. Лютке «Святое ободрение в часы усталости и задумчивости» (Копенгаген, 1764 г.), в которой, в обращении «К читателю» автор пишет: «Я назвал эти размышления „Святое ободрение в часы усталости и задумчивости“ не потому только, что они были составлены и написаны в такие часы, но потому, что в такие часы они и лучше всего читаются».

<sup>7</sup> 5-го мая – день рождения Сёрена Кьеркегора.

пустыми руками, ведь мы желаем взять с собой и воспоминания о боязливых сомнениях, которые были умирены; о потаенных тяготах, которые были облегчены; о подавленности, которая сменилась вдохновением; о радостной надежде, которая не была посрамлена. И даже когда в мгновения грусти мы желаем укрепить и ободрить душу, думая о великих людях, Твоих избранных орудиях, которые в тяжелой душевной борьбе, когда страх охватывал сердце, не теряли свободы духа, не лишались мужества, и небеса оставались для них отверсты, – то к явленному на них мы желаем приложить и наше свидетельство, будучи убеждены, что даже если наше мужество по сравнению с их является лишь малодушием, наша сила – бессилием, то Ты пребываешь все Тем же – тем же сильным Богом, Который в борьбе испытывает дух, тем же Отцом, без воли Которого ни один воробей не упадет на землю.

Аминь.

*Это послание апостол Павел пишет к Галатам  
(3 глава с 23 стиха до конца)*<sup>8</sup>

Мы собрались здесь в первый день Нового года, благоговейные слушатели! Праздник, который мы сегодня празднуем, не имеет особого церковного названия, и все же торжество этого дня не становится для нас из-за этого менее желанным, и этот день не менее серьезно, чем другие праздники, приглашает нас к тихому раздумью. Мы собрались сегодня в доме Божиим, где всегда должно говориться об одном, даже если и различным образом в зависимости от времени и обстоятельств. Год миновал и начался новый; в нем ничего еще не произошло; прошлое завершено, настоящего еще нет, есть только будущее, которого еще нет. В повседневной жизни мы порой желаем друг другу разного рода благ. Чем лучше мы, как мы думаем, знаем характер, мысли и увлечения человека, тем легче рискуем мы пожелать ему какого-то определенного блага, которое было бы значимо именно для него и отвечало бы его жизни. И в день Нового года мы не упускаем возможности проявить участие и расположение к ближним, желая им каких-либо благ. Но поскольку в этот день мысль о будущем и о сокрытых в нем неисследимых возможностях живо присутствует в нас, наши пожелания часто бывают обобщенными: мы надеемся, что пожелание большего объема легче сможет вместить многообразие того, что может случиться в будущем; нам кажется слишком трудным желать чего-то определенного перед лицом неопределенного и неопределимого. Но мы не позволяем этой трудности мешать нам выражать пожелания и не даем мысли время на то, чтобы поколебать наше сердце в его таинственном и неопределенном побуждении к этому, – мы следуем нашему расположению к ближним, которое, если даже для него и слишком высокая честь называться любовью, все же при этом не сводится к легкомыслию. Исключение составляет лишь случай, когда мы с особым чувством относимся к какому-то человеку. Его жизнь сильнее затрагивает наше сердце, о его благе мы больше беспокоимся. Чем в большей мере это так, тем неодолимее чувствуем мы себя в затруднении. Погружаясь в грядущее, наша мысль блуждает тогда, неустанно стараясь вырвать или выманить у грядущего то, что оно хранит в потаенности; пытаюсь нащупать след, она устремляется от одной возможности к другой, но тщетно; и душа, которая жаждет обрести подходящее пожелание, становится грустной, она сидит и ждет, чтобы мысль вернулась назад и просветила ее, открыла ей, что же такое могла бы она отважиться пожелать, вложив в это всю глубину своего чувства. То, что другие делают легко и непринужденно, оказывается для этого человека трудным и тягостным; то, с чем сам он легко справляется, когда дело идет обо

---

<sup>8</sup> А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона до того *времени*, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою; по пришествии же веры мы уже не под *руководством* детоводителя. Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники.

всех прочих людях, оказывается трудным для него, когда дело идет о том, кого он любит сильнее всего, – и это затруднение оказывается тем большим, чем сильнее он любит. Наконец, он совсем теряется, он не хочет выпустить из-под своей защиты того, кого он любит, не хочет отдать его на произвол грядущего, и однако он вынужден это сделать; он хочет сопроводить его всеми благими пожеланиями, однако у него нет ни одного.

Если бы снедаемая беспокойством душа какого-нибудь человека почувствовала себя заложницей подобного затруднения, то этот человек, наверное, обратил бы свои мысли и к тем свидетельствам, которые он слышал в храмах Божиих; он, возможно, стал бы ходить в храм, чтобы опять же искать и исследовать, не найдет ли он там такого пожелания, которое столь полно отвечало бы тому, чего он ищет, что он мог бы отважиться вложить в это пожелание всю глубину своей души, не приберегая ни малейшей ее части для того, чтобы пожелать чего-то еще, тоже важного для того, кого он любит; которое столь полно отвечало бы тому, чего он ищет, что скорее можно было бы опасаться, что ему не хватит душевной глубины для того, чтобы пожелать этого так, как следует этого желать; пожелание, вдогонку которому не нужно было бы желать того, чтобы это осталось и не ушло; пожелание, которое, когда человек уже не желает этого, не оставалось бы его донимать; пожелание, которое касалось бы не какой-то отдельной вещи, желая которой, приходилось бы забыть о какой-то другой отдельной вещи, которая потём могла бы всплыть совсем некстати; пожелание, которое касалось бы не настоящего, но отвечало бы будущему, ведь именно будущее дало этому человеку самый повод чего-то кому-то желать. Если бы такое пожелание нашлось, он обрел бы свободу и радость, он радовался бы этому пожеланию и еще более тому, что он может пожелать это другому.

И ведь в храмах Божиих говорится о многих хороших вещах. Здесь говорится о мирских благах, о здоровье, радостных днях, богатстве, власти, удаче, прекрасных воспоминаниях; и здесь предостерегают от них: того, кто имеет эти блага, предостерегают, чтобы он им не верил; того, кто их не имеет, предостерегают, чтобы его сердце не было к ним обращено. О *вере* идет здесь иная речь. Говорится, что она – величайшее благо, что она прекраснее и драгоценнее всего, что в ней вся полнота блаженства, что она несопоставима ни с чем иным и ничем иным не заменима. Но отличается ли она от других благ лишь тем, что она – высочайшее благо, будучи в остальном подобной им всем – столь же зыбкой и непостоянной, достигающей только немногим избранным и редко кому на всю жизнь? Если бы это было так, тогда было бы необъяснимо, почему в храмах только и говорится что о вере и почему она вновь и вновь восхваляется и славится. Ведь тогда говорящий должен был бы или обладать этим благом, или испытывать в нем нужду. Если бы он обладал им, он, наверное, сказал бы: «Я, без сомнения, признаю, что это прекраснейшее из благ, но восхвалять его перед другими – нет! – я не могу так поступить, ведь от этого станет еще тяжелее тем, кто его не имеет; к тому же с этим благом сопряжена сокровенная боль, которая делает меня одиноким больше, чем самые тяжкие страдания». И это, конечно, было бы благородно и милосердно с его стороны. Тот же, кто не имел бы этого блага, не мог бы славить его. Тогда вышло бы нечто обратное тому, что на самом деле имеет место; вера стала бы единственным благом, о котором никогда не говорилось бы в храме Божием; ведь это благо было бы слишком велико, чтобы кто-то осмелился предостерегать против него, слишком великолепно для того, чтобы кто-то осмелился восхвалять его – ведь он бы тогда опасался, что перед ним окажутся те, кто не имеют его и не могут его получить. Но тогда, значит, вера отлична от всех других благ; она не просто высочайшее благо, но она – благо, которому всякий способен стать причастен; и тот, кто радуется обладанию этим благом, радуется и о бесчисленном человеческом роде; «ведь то, чем я обладаю, – говорит он, – тем обладает или то способен получить всякий человек». Тот, кто желает веры другому человеку, желает ее самому себе; тот, кто желает ее самому себе, желает ее всякому человеку; ведь то, в силу чего другой человек ее имеет, это не что-то такое, чем этот другой от него отличается, но

то, в чем он с ним един; то, в силу чего он обладает верой, это не что-то такое, чем он отличен от прочих, но то, в чем он полностью един со всеми.

И пожелание веры было бы как раз таким пожеланием, какого искал в растерянности тот человек; пожеланием, которое он мог бы высказать от всего сердца, вложив в это всю свою крепость, всю душу; пожеланием, в которое он мог бы вкладывать все большую и большую глубину чувства по мере того, как все более глубокой становилась бы его любовь. Так что он захотел бы пожелать веры тому, кого он любит.

Если бы некий человек пришел к другому человеку и сказал ему: «Я много слышал, как веру превозносят, называя ее прекраснейшим из благ; я же чувствую себя ее не имеющим, и я – хотя мне мешают перипетии моей жизни, рассеянность души, множество хлопот и многое другое – сознаю в себе одно лишь желание, одно-единственное: обрести ее», – а человек, к которому бы он пришел, был бы расположен благожелательно и ответил: «Это прекрасное и благочестивое желание, которое ты не должен оставлять, и оно, вероятно, будет исполнено», – не правда ли, эта речь показалась бы ему любезной, и он охотно выслушал бы ее, ведь мы всегда охотно слушаем, когда речь идет об исполнении нашего желания. – Но время шло, а у него все оставалось по-прежнему. Тогда он пошел к другому человеку и ему тоже открыл свое беспокойство и свое желание. И этот человек посмотрел на него серьезно и сказал: «Как ты можешь так заблуждаться; твое желание не просто благочестиво и прекрасно, его не просто следует не оставлять ни за какую награду, но ты намного ближе к тому, чего ты желаешь, чем ты думаешь, ведь это – твой долг, ты должен<sup>9</sup> иметь веру, и если ты ее не имеешь, то это твой грех и твоя вина». – Эта речь удивила его, и он подумал: если это так, если вера так легко приобретается, она, по-видимому, не столь прекрасна, как о ней говорят; иначе вышла бы нелепица. За другими благами человек едет на край света; они таятся в далеких местах, в которые человек может попасть лишь с большим риском для себя; или, даже когда это не так, с их распределением происходит то же, что с водой в купальне Вифезда, о которой мы читаем в Священном Писании<sup>10</sup>: Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее – да, кто первый входил в нее, тому улыбалась удача. Так неужели с верой – высочайшим из благ – не должно быть так, но она должна приобретаться безо всякой трудности? Между тем он, наверное, стал бы серьезно думать об этом, и вот когда он по-настоящему глубоко обдумал бы это, он, возможно, сказал бы: «А ведь этот человек был прав, все так, как он сказал; его речь была дерзновенной, в ней были сила и смысл; именно так следует отвечать; ведь что толку в пожеланиях». И он стал бы в безмолвии трудиться в сердце своем; и всякий раз, когда его душа хотела бы отдохнуть от желания веры, он обращался бы к ней, говоря ей: никто ведь не заставлял тебя желать, – и продолжал бы подвизаться. И когда его душа страшилась бы, он обращался бы к ней, говоря ей: ты страшишься оттого, что желаешь, ведь страх – это форма, которую принимает желание; но никто ведь не заставлял тебя желать, – и продолжал бы подвизаться. И когда он был бы близок к отчаянию, когда он говорил бы: я не могу; все люди могут, только я не могу. О! если бы я никогда не слышал тех слов, если бы мне дали спокойно идти, как я шел с моей заботой – и моим желанием; – он обращался бы к своей душе, говоря ей: теперь ты лукавишь; ведь ты говоришь, что ты желаешь, но делаешь вид, будто речь идет о чем-то внешнем, чего можно желать, хотя ты знаешь, что хотеть можно лишь чего-то внутреннего; ты лжешь самому себе; ведь ты говоришь: все люди могут, только я не могу, – хотя ты знаешь, что в том, в силу чего другие люди это могут, они полностью едины с тобой, так

<sup>9</sup> В датском переводе Евангелия, которым пользовался С. Кьеркегор, слова, которые в русском переводе передаются глаголами повелительного наклонения («возлюби», «веруйте» и т. п.), передаются с помощью конструкции с глаголом «должен»: «ты должен любить...», «вы должны веровать...» и т. п. С этим связана важная для С. Кьеркегора тема евангельского «должен». По мысли С. Кьеркегора, если Евангелие говорит тебе: «Ты должен», – значит, ты это можешь, и потому твоя вина, если ты этого не делаешь.

<sup>10</sup> Ин 5:1–16.

что если бы ты поистине не мог этого, то не могли бы и другие. Ты предаешь при этом не только самого себя, но, покуда это относится к тебе, и всех людей; и с ложным смирением исключая себя из их числа, ты коварно подрываешь их силу! – И он продолжал бы подвизаться. Если бы он долгое время проходил такое воспитание под руководством детоводителя<sup>11</sup>, он, возможно, обрел бы веру. «Проходил воспитание», – здесь можно подумать, будто должен быть кто-то другой, кто бы его воспитывал. Однако это не так; это лишь иллюзия, лишь кажимость. Один человек может многое сделать для другого, но он не может дать ему веру. В мире мы слышим, как люди говорят отличные друг от друга вещи. Один говорит: «Мое образование – это мой собственный труд, я ничем никому в этом не обязан», – и он полагает возможным гордиться этим. Другой говорит: «Этот замечательный мастер был моим учителем, для меня честь иметь право называть себя его учеником», – и он полагает возможным гордиться этим. Мы не станем решать здесь, насколько они правы, рассуждая так, но если их слова не пусты, то им, конечно, многое дано: ведь первому изначально достаточно самого себя, а второму выпала благоприятная возможность стать учеником выдающегося мастера. Что же тогда сказать нам, благоговейные слушатели, нам, кто слишком незначительны для того, чтобы стать учениками? Если бы некто сказал: «Когда люди отвергали меня, я обращался к Богу, Он стал моим Учителем, и в этом мое блаженство, моя радость, моя гордость», – разве это менее прекрасно? И однако, всякий человек может и смеет это сказать; может сказать это, не солгав, и если в его словах появляется ложь, то не оттого, что эта мысль неверна, но оттого, что он искажает ее. Если его лоб приплюснут, почти как у животного, или если он высится более гордо, чем свод небес; если его рука простирается, чтобы повелевать царствами и государствами, или если она протянута для того, чтобы собрать крохи, которые падают со стола богатого; если его намеку послушны тысячи, или если никому до него нет дела; если его уста источают дивные речи, или если из них исходит лишь невнятный шум; если он – исполненный сил мужчина, противящийся буре, или, напротив, беззащитная женщина, ищущая укрытия от непогоды, – это ничего, ровным счетом ничего здесь не значит. Всякий может это сказать, если у него есть вера; ведь в вере и обретается это прекрасное. И ты знаком с верой, мой слушатель, ты не боишься, когда ее именуют, как если бы этим ее забирали бы у тебя, и ты лишь впервые в мгновение прощания с нею получал бы возможность ощутить ее блаженство. Или ты ее не знаешь? Ах! будь это так, ты был бы весьма несчастен. И ты не мог бы в печали сказать: «Тот, Кто дает даяния добрые, обошел мою дверь»; ты не мог бы в печали сказать: «Буря и непогода отняли ее у меня»; – ведь Тот, Кто дает даяния добрые, не обошел твоей двери, и буря и непогода не отняли ее у тебя, ведь они не могут этого сделать.

И вот пожелание веры оказалось бы как раз таким пожеланием, какого искал тот растерявшийся человек; и он больше не был бы в нужде. Но здесь обнаружилась бы новая трудность; ведь когда он пожелал бы веры, ему стало бы ясно, что это благо не может быть получено посредством пожелания; ведь и сам он не мог, пожелав, получить это благо, – но это заботило его меньше, чем то, что он не мог дать его другому, пожелав ему этого; другой мог бы обрести его, лишь сам того возжелав. И он снова был бы вынужден отпустить другого, предоставить другого самому себе, и его пожелание вновь оказалось бы бессильно. Но ведь не таково было его намерение. Он, напротив, желал сделать все для другого; ведь желая чего-то другому, я не требую его содействия. И так же мыслил себе это наш растерявшийся человек. Он как бы желал сказать тому, кого он любит: «Будь спокоен и беззаботен, тебе ничего не нужно делать; ты просто будь доволен и счастлив, радуясь всем тем хорошим вещам, которые я стану тебе желать. Я буду желать без устали, я не отступлю от всеблагото Бога, дающего добрые даяния, я подвигну Его к этому моими молитвами, и ты получишь все сполна». Смотри, когда он думал назвать отдельные хорошие вещи, они казались ему столь сомнительными, что он не смел пожелать

<sup>11</sup> Т. е. закона. См. Гал 3:24.

их другому; но вот он нашел то, чего искал, нашел то, что он мог уверенно пожелать, и вот пожелать этого не получалось!

Он снова был растерян, снова озабочен, снова загнан в тупик. Является ли вся жизнь лишь противоречием, которое любовь не может разрешить, но может лишь сделать труднее? Эту мысль он не мог вынести, он должен был найти выход. Должно быть, что-то было не так в его любви. Тогда он понял, что сколь бы сильно ни любил он, он любил неправильно; ведь если бы было возможно своим пожеланием дать другому все хорошие вещи, в том числе и высочайшее благо, веру, то именно это сделало бы другого менее совершенным существом. Тогда он нашел, что жизнь прекрасна, и вера великолепна еще и тем, что ни один человек не может дать ее другому, но при этом она – высочайшее, благороднейшее, самое святое в человеке – есть у всякого человека, если он желает ею обладать; что великолепие веры как раз в том, что лишь так она может обретаться; и что она потому есть единственное непреложное благо, что ее можно иметь, лишь постоянно приобретая, и приобретать, лишь постоянно творя ее.

Этот растерянный прежде человек был теперь успокоен; однако произошло изменение и с ним самим, и с тем, о чьем благе он так беспокоился, с их отношением друг к другу. Они оказались отделены друг от друга: один был заключен – скажем так – в рамках своих правомочий, другой же строго в пределах своих границ. Их жизнь стала более полной смысла, чем прежде, но при этом они стали друг другу словно чужие. Его сердце, которое прежде было столь богато на пожелания, теперь стало бедным; его руки, которые прежде были столь готовы помочь, теперь приучились покоиться; ведь он знал, что так не поможешь. То, что он понял, было истинным, но эта истина не сделала его счастливым. Является ли тогда жизнь противоречием, которое истина не может разрешить, но может лишь сделать тяжелее? – ведь чем он глубже познавал эту истину, тем больше он чувствовал себя отделенным от другого и тем более бессильным в отношении него. И все же он не мог ни желать, чтобы это было неправдой, ни хотеть перестать эту истину знать, пусть даже она и разделяла их навеки так, как сама смерть не могла бы их разделить. Эту мысль он не мог вынести, он должен был найти разрешение, и он понял тогда, что его отношение к другому только теперь обрело свой истинный смысл. «Если бы я, – сказал он в себе, – моим пожеланием или даянием мог бы подарить ему высочайшее благо, тогда я мог бы и забрать его у него, пусть даже ему и не было бы нужды опасаться этого, да! хуже того, если бы я мог это сделать, то в то же мгновение, когда бы я дал ему это благо, я забрал бы его у него; ведь как раз тем, что я дал бы ему высочайшее, я забрал бы высочайшее у него; ведь высочайшим является то, что он может обрести это сам. Поэтому я стану благодарить Бога за то, что это не так; моя любовь лишь утратила свое беспокойство и нашла радость; ведь я знаю, что я, приложив даже все свои силы, не смог бы сохранить за ним это благо так надежно, как он сам сохранит его; и он не должен благодарить меня – не потому, что я освобождаю его от этого, но потому, что он мне вовсе ничем не обязан. Разве придется мне теперь меньше радоваться о нем, меньше радоваться тому, что он владеет самым дорогим из всех благ. О, нет! Я буду радоваться лишь больше, ведь если бы он был этим обязан мне, это расстроило бы наши отношения. Если же он не обладает этим благом, я могу быть ему весьма полезен: я стану сопровождать его мысль, побуждая его понять, что это благо – высочайшее, я не дам ему впасть в помрачение, в котором ему будет неясно, способен ли он обрести это благо; я пройду вместе с ним через все сомнения, пока у него, если он не имеет веры, не останется лишь одного объяснения своего несчастья, состоящего в том, что он *не хочет* ее иметь; этого он не сможет вынести и непременно обретет ее. С другой стороны, я стану восхвалять пред ним великолепие веры, и – пусть он и обладает верой – приведу его к желанию ею обладать. И вот сегодня, в первый день года, когда мысль о грядущем соблазняет нас многообразными возможностями, я покажу ему, что в вере он обладает единственной силой, способной одолеть грядущее, я стану говорить ему о чаянии, присущем вере».

А мы, благоговейные слушатели, не должны ли и мы сделать то же самое и по случаю праздника поговорить друг с другом:

*О чаянии, присущем вере*

Говоря о чаянии, присущем вере, мы говорим и о чаянии как таковом; говоря же о чаянии, мы, естественно, думаем, что перед нами те, кто чего-то чают. Но ведь те, кто чают чего-либо, чувствуют счастье и радость. К ним ли тогда в первую очередь должно быть обращено слово, звучащее в этом святом месте, или скорее к тем несчастным, что подвели черту под своей жизнью и уже ничего не чают? Пожалуй, следовало бы обратиться к последним, если бы только мы были в силах им что-то сказать. Им нужно было бы сказать о том, сколь ничтожна та мудрость, к которой они пришли, сколь удобно они устроились, ожесточив свою душу; нужно было бы вырвать у них подушку лени, на которой они желают бессмысленно проспять свою жизнь; показать им, каким высокомерием исполнено их отличие от прочих людей, ведь тогда как все другие люди, сколь бы счастливы или сколь бы обременены заботами они ни были в жизни, всегда готовы признать, что Бог может подвести итог, тогда как все другие люди признают, что в Судный день они не смогут ответить и на тысячную долю того, что будет им предъявлено, эти выговорили себе право предъявлять справедливые претензии к жизни, претензии, которые в свое время сделают подведение итогов весьма трудным – но только подводить их будут не они. Вот что следовало бы им сказать; но мы лучше будем обращаться к тем, кто еще чего-то чают.

Число чающих в мире всегда было крайне велико, и чаяния их столь непохожи, что очень трудно объять их все разом. Но все же в одном все чающие схожи: они чают чего-то грядущего; ведь чаяние и грядущее мыслятся нераздельно. Но, быть может, неправильно занимать себя грядущим; быть может, жалоба, которую часто случается слышать, – жалоба на то, что человек, увлекшись грядущим, забывает настоящее, – имеет веские основания. Мы не станем отрицать, что такое порой имеет место, даже если меньше всего в наше время, но мы и не преминем напомнить, что в самой способности к этому заключено как раз величие человека, что она доказывает его божественное происхождение; ведь если бы для него не было никакого грядущего, то не было бы и прошедшего, а если бы для него не было бы ни грядущего, ни прошедшего, то человек жил бы в порабощении, подобно животному: голова его была бы нагнута к земле, а душа порабощена мгновению. Нельзя было бы в этом смысле пожелать жить для настоящего; в этом смысле было бы непонятно, если бы кто-либо пожелал представить это как нечто великое. Но где мы должны полагать границу, в какой мере нам позволительно заниматься грядущим? Ответ не труден: только когда мы одолели грядущее, только тогда мы можем обратиться к настоящему, только тогда наша жизнь в настоящем обретает смысл. Но разве же это возможно? Ведь грядущее – это целое, а настоящее – его часть; как могли бы мы одолеть целое прежде, чем пришли бы к его первой части; как могли бы мы, одолев его, обратиться к тому, что шло первым? Разве не так, разве не ставит здесь мысль себе нелепую задачу? Нет, отнюдь. Ведь все это как раз возможно; и мы готовы восхвалять далеко не всякое отношение к грядущему. Жизнь того, кто совершенно оставляет грядущее, становится сильна в настоящем лишь в недостойном ее смысле; тот же, кто погружается в грядущее, не одолевая его, имеет в лице его еще одного врага, делающего его слабым в борьбе с настоящим. И лишь у того, кто одолевает грядущее, его настоящая жизнь становится здоровой и сильной.

Так что быть способным заниматься грядущим – это знак благородства человека; борьба с грядущим облагораживает человека более всего. Тот, кто борется с настоящим, борется с отдельной вещью, против которой он может употребить всю свою силу. Поэтому если бы помимо этого человеку не с чем было бы сражаться, он бы, возможно, шествовал всю жизнь напролет от победы к победе, но так и не узнал бы ни себя самого, ни свою силу. А тот, кто

борется с грядущим, имеет более опасного противника и не может пребывать в неведении о себе самом; ведь он борется с самим собой. Грядущее это не что-то такое, что *есть*; оно занимает силу у самого человека, и, выманивая у него силу, показывает себя внеположным ему как противник, с которым ему предстоит столкновение. И будь человек сколь угодно силен, никто из людей не сильнее себя самого. Поэтому в жизни мы часто видим, как те, кто из всех битв вышли победителями, становятся бессильны, когда им приходится иметь дело с грядущим противником, как их руки словно немеют при этом. Они, привыкшие, быть может, и весь мир вызывать на бой, находят здесь противника, чей смутный облик способен их ужаснуть. Поэтому, наверное, часто люди, которых Бог призывал испытать себя в борьбе, в сражении, казавшемся людям ужасным, принимая бой, уходили тем самым от более страшной битвы; в пылу борьбы они смеялись, быть может, вспоминая о той невидимой брани, что была прежде. Люди в мире восхищались ими, думая, будто они победили в самом опасном бою, а для них это было словно игра по сравнению с тем, что прежде им довелось испытать и чего никто из людей не видел. Ведь, конечно, тот, кто сильнее других, побеждает других в борьбе; но, конечно, никто из людей не сильнее себя самого. И вот, когда человек борется с грядущим, он понимает, что сколь бы он ни был в прочем силен, есть противник, который сильнее: это он сам, – и этого противника он не может одолеть своими силами, не может одолеть себя самого.

Однако верно ли изображать борьбу с грядущим как столь опасную? «Будь мы молоды или стары, мы все уже что-то пережили, и грядущее не столь уж ново, ведь нет ничего нового под солнцем; грядущее это прошедшее. Будь мы молоды или стары, мы все имеем опыт, в который желаем облечься; мы желаем идти по тропе догадки и следовать руководству предположения; мы желаем одолеть грядущее с помощью силы умозаключения, и так вооружившись, идем мы смело ему навстречу». И ведь это благо, когда человек вооружен, идя сражаться, и еще лучше, если он вооружен сообразно тому, чего требует сражение. Если человек, которому предстоит борьба на беговой дорожке, пожелает облачиться в тяжелые доспехи, он будет изрядно вооружен, но вряд ли ему это будет на пользу. И не так ли обстоит здесь с вооружением того, кому предстоит бороться с грядущим? Ведь опыт – двуличный друг, который говорит то одно, то другое; и предположение – это неверный руководитель, который покидает человека тогда, когда тот больше всего в нем нуждается; и догадка – это расплывчатый взгляд, который близорук; и умозаключение – это праща, которой человек разит скорее себя, чем противника. И к тому же эти орудия нелегко применить; ведь предположению сопутствует страх, догадке – тревога, умозаключению – беспокойство, и значит, получающая опыт душа не остается неизменной в этом опыте. Так что мы были бы изрядно вооружены, облекшись в опыт, но не для той борьбы, которая нам предстоит – борьбы с грядущим; ведь мы искали бы превратить грядущее в нечто настоящее, в нечто отдельное, но грядущее это не нечто отдельное, оно – не часть, но целое.

Как же следует нам выйти навстречу грядущему? Когда моряк плывет по океану, где все вокруг меняется и где волны рождаются и умирают, он не смотрит вниз на волны, ведь они постоянно изменяются. Он смотрит вверх на звезды: и почему? – потому что они надежны; и как стоят они теперь, так они стояли во времена отцов и будут стоять для последующих поколений. Благодаря чему тогда побеждает он изменчивое? Благодаря вечному. Благодаря вечному человек может одолеть грядущее; ведь вечное это почва для грядущего, и потому оно позволяет человеку проникнуть в его суть. Какова в человеке вечная сила? Это вера. Чего чает вера? Вера чает победы, она, как нас столь серьезно и столь трогательно учит Писание, ожидает, что тем, кто любит Бога, все вещи будут содействовать ко благу<sup>12</sup>. Но чаяние, обращенное к грядущему, чаяние победы, оно ведь одолевает грядущее; верующий побеждает грядущее

<sup>12</sup> Рим 8:28. Любящим Бога... все содействует ко благу.

прежде, чем он приступает к настоящему, и эта победа не может быть отнята у него, она лишь может сделать его сильнее для дела в настоящем.

Значит, вера чаёт победы! Радостная душа, еще не вкусившая трудностей жизни, еще не прошедшая школу житейских забот и не возросшая в двусмысленной мудрости опыта, говорит всем сердцем: да! этому чаянию; ведь она чаёт победы во всем, во всех битвах и искушениях, или, точнее, она чаёт победить без борьбы. Мы не хотим быть тем строгим лицом, которое остановит юного на его пути, но не хотим и искать для него утешения, когда он поймет, что это чаяние, сколь бы прекрасным оно ни было, это все же не чаяние, присущее вере; скорее мы хотим быть тем, кто будет звать его на битву, когда он будет чувствовать себя бессильным; тем, кто поможет победе дать ему знак, когда он будет считать все потерянным. Напротив, печальющийся, тот, кто едва отошел от слез о потере, случившейся в настоящем, формирует грядущее иначе, – ведь грядущее легко и споро, оно податливей, чем глина, и потому всякий формирует его сообразно тому, как он сам сформирован. Находящийся в печали не чаёт победы, он только что слишком тяжело ощутил свою потерю; и хотя потеря эта принадлежит прошедшему времени, он все же берет ее с собой, он ожидает, что грядущее время предоставит ему хотя бы покой для того, чтобы он мог быть тихо занят своей болью. – Опытный человек порицает образ действия обоих. Ведь когда ты обладаешь почти всеми благами, которых только можно желать, то следует быть готовым к тому, что житейские беды посещают и дом счастливого; когда ты потерял все, то следует думать, что время таит немало драгоценных лекарств для болящей души и что будущее, как любящая мать, скрывает многие благие дары: в счастье следует быть в некоторой степени готовым к несчастью, в несчастье – к счастью. Такая речь опытного ничуть не тщетна: ведь и радостный, который нелегкомыслен, и печальющийся, который не отчаялся, охотно будут внимать его словам, и оба охотно устроят свою жизнь, руководствуясь ими. Счастливый станет взвешивать теперь те блага, которыми он обладает. Лишение некоторых, – будет думать он, – не причинит ему боли, потеряв же другие, он сможет легко перенести эту боль. Лишь одно-единственное благо он не сможет потерять, не потеряв свою радость, и он не сможет потерять его отчасти, не потеряв его целиком, и вместе с ним – свою радость. Итак, он будет подготовлен теперь к потере своих благ, он будет, послушавшись совета опытного человека, в некоторой степени подготовлен к несчастью. Но опытный человек говорил: лишь в некоторой степени. И эти слова могли, в том числе, относиться к тому единственному благу, которое он не мог бы потерять, не потеряв свое счастье, которое он не мог бы потерять отчасти, не потеряв его целиком. Опытный человек не станет разьяснять свои слова, он повторяет их в их неизменности, незыблемости, предоставляя их толкование и применение тому, кто ими руководствуется. И тут и счастливый, и находящийся в печали становятся нетерпеливы. Это слово: до некоторой степени – слово, которое должно быть разрешающей силой, становится силой вяжущей, пленяющей их; оно продолжает звучать безучастно, не заботясь об их усилиях понять его, не внемля их мольбам о разьяснении. Опыт, которым они желали руководствоваться, привел к сомнению; речь опытного человека оказалась речью, рождающей сомнение.

Верующий, напротив, говорит: я чаю победы. Эта речь ничуть не тщетна: ведь и счастливый, который нелегкомыслен, и печальющийся, который не одержим сомнениями, охотно прислушались бы к его речи. И вот радость вновь возвращается в радостную душу, и душа чаёт победы, победы во всех битвах, во всех искушениях. Опыт научил ее тому, что ей, быть может, предстоит борьба. Но она, благодаря вере, чаёт победы во всех сражениях, лишь на мгновение она словно бы останавливает саму себя и говорит: «Нет, это уж слишком, это невозможно, такой великолепной жизни не может быть; ведь сколь богата юность в своем высочайшем счастье, но это превосходит даже самую радостную и заветную надежду юности». – Да, конечно, это превосходит самую заветную надежду юности, и все же это возможно, даже если все обстоит не совсем так, как ты полагаешь. Ты говоришь о многих победах, но вера чаёт лишь одной, точнее, она чаёт победы. Если бы некий человек услышал о том, что есть учение,

способное дать каждому необходимое, он мог бы сказать: «Это невозможно – дать человеку все, что ему необходимо; мне, например, нужно так много всего», – и тогда другой человек, указав ему на Священное Писание, мог бы по праву свидетельствовать о том, что в нем он найдет все необходимое, – но первому пришлось бы понять, что все обстоит не совсем так, как он полагал. Ведь Писание говорит: *одно только нужно*<sup>13</sup>. Так и с верой: когда ты говоришь о многих победах, ты подобен тому, кто говорит, что ему многое нужно. Но одно только нужно, и вера чаёт победы.

И победа ожидает верующего, и потому он радостен и отважен, – да и как иначе, если он чаёт победы! Но я слышу голос, который, наверное, знаком и тебе, мой слушатель. Он говорит: «Это приятно слушать, это высокие слова и благозвучная речь, но серьезность жизни поистине учит чему-то иному». Чему же научила серьезность жизни тебя, говорящего так? Не тому ли, что твои желания не были исполнены, твои просьбы не были удовлетворены, твои хотения не были услышаны, твои стремления не осуществились. Вот чему научила она тебя, но не об этом идет у нас речь; она научила тебя также приходиться со лживыми устами на помощь людям, высасывать веру и доверие из их сердец и делать это святым именем серьезности. Почему же серьезность жизни научила тебя именно этому? Не могла ли она научить тебя иному? Когда жизнь учит двоих людей разному, это может происходить оттого, что сами они различны. Если двоих детей воспитывать вместе, так что они будут делить одну и ту же судьбу, и когда будут хвалить одного, будут хвалить и другого, когда один будет получать замечание, будет получать и другой, когда одного будут наказывать, будут наказывать и другого, они могут при этом научиться совершенно разным вещам. Один может научиться всякий раз, когда его хвалят, не гордиться; всякий раз, когда ему делают замечание, смиряться, внимая наставлению; всякий раз, когда его наказывают, получать исцеление посредством страдания; – другой же может научиться всякий раз, когда его хвалят, надмеваться; всякий раз, когда ему делают замечание, ожесточаться; всякий раз, когда его наказывают, копить тайную злобу. Так и ты. Если бы ты любил людей, то серьезность жизни, пожалуй, научила бы тебя не кричать о себе, но умолкнуть, и если ты терпишь бедствие и не видишь земли, по крайней мере, не посвящать в это других; она, пожалуй, научила бы тебя улыбаться, по крайней мере, до тех пор, пока ты мог бы полагать, что кто-то, глядя тебе в лицо, ищет в нем ответа, свидетельства. Жизнь тогда, быть может, подарила бы тебе грустную радость видеть, как другим удается то, что тебе не удается, и утешение в том, что ты сделал для этого то, что мог сделать, задушив вопль страха, рвавшийся из сердца, – вопль, который помешал бы им. Почему же ты не научился этому? Раз ты не научился этому, мы не можем принимать во внимание твою речь. Мы не осуждаем тебя за то, что ты сомневаешься, ведь сомнение лукаво, и может быть трудным вырваться из его силков. Но мы требуем от сомневающегося, чтобы он молчал. Он ведь видит, что сомнение не сделало его счастливым, зачем же тогда поверять другим то, что сделает их столь же несчастными. И что он выигрывает от этого? Он губит самого себя и делает других несчастными. Он губит самого себя, вместо того чтобы найти, быть может, покой в молчании, удалившись, тихо нести свою одинокую боль; губит себя ради того, чтобы кричать о себе, чтобы стать значимым в глазах людей, выдавая за завидную честь и отличие самое свойство сомневаться или хотя бы возможность усомниться. Сомнение это глубокое и лукавое страдание, но тот, чью душу оно не захватило так, чтобы он онемел, тот лживо приписывает себе это страдание; и то, что он говорит, есть поэтому не просто неправда в себе и для себя, но прежде всего неправда в его устах. И, смотри, как раз поэтому мы не внемлем ему.

Итак, вера чаёт победы. Приходящее извне сомнение ей не помеха; ведь оно само себя посрамляет тем, что говорит. Но сомнение упорно, оно тайными путями подкрадывается к человеку, и когда вера чаёт победы, оно нашептывает ему, будто это чаяние – обман. «Чаяние,

---

<sup>13</sup> Лк 10:42.

которому не определены время и место, это лишь обман; так можно всегда оставаться чающим; такое чаяние – это колдовской круг, из которого душа не может выскользнуть». Действительно, чаяние, присущее вере, не дает душе как бы выпасть из себя самой в многообразное, так что душа пребывает в себе самой; но, если бы человек выскользнул из этого круговращения, это было бы, пожалуй, величайшим злом, которое с ним может случиться. И из всего этого ведь вовсе не следует, что присущее вере чаяние это обман. Да, чаяние того, кто чает чего-то отдельного, может быть обмануто, но не так обстоит дело с верой. Когда мир начинает безжалостно испытывать человека, когда жизненные бури рушат роскошные чаяния юности, когда существование, казавшееся столь любезным и мягким, обращается в немилосердного хозяина, который требует обратно все – все, что он дал так, что он может это забрать, – тогда верующий смотрит с грустью и болью на себя и на жизнь, но все же он говорит: есть чаяние, которого ничто в мире не может отнять у меня, – это чаяние, присущее вере, а вера чает победы. Я не обманут; ведь когда мир сулил мне многое, я не поверил, что он сдержит слово; мое чаяние было обращено не к миру, но к Богу. И это чаяние не обмануто; даже в это мгновение я вижу, как оно радостно побеждает, и великолепие этой победы перевешивает боль всех потерь. Если бы я потерял это чаяние, тогда все было бы потеряно. Но я уже победил благодаря этому чаянию, и само мое чаяние есть победа.

Разве не так бывает в жизни? Если бы был человек, к которому твое отношение было бы столь глубоко, что ты смел бы сказать: я верю ему, – не правда ли, до тех пор, пока все отвечало бы твоему желанию, или пусть и не вполне отвечало бы ему, но было бы таким, что ты мог бы легко согласовать это с твоими представлениями, ты верил бы ему точно так же, как верили бы ему и другие; но если бы произошло нечто непредвиденное, необъяснимое, тогда другие отпали бы или (давайте не подменять понятия) тогда они бы показали, что они никогда ему не верили. А ты остался бы верен. И ты бы понял, что вера твоя основана не на этих обстоятельствах и не на твоей способности объяснить и предвидеть происходящее, ведь в противном случае твоя вера была бы основана на твоих представлениях и была бы отнюдь не верностью, но скорее уверенностью в себе. И ты бы считал скандалом для себя выскользнуть из этого круга; ведь в твоих устах слова «я верю ему» значили бы больше, чем в устах других людей, и ты бы чувствовал, что никакое изменение неспособно заставить тебя поступить так, как другие, до тех пор, пока твоя вера еще что-то значит. Но здесь ты, быть может, и ошибался бы – не в том, что ты верил бы, не в том, что верил бы так, но в том, что верил бы так *человеку*. Быть может, необъяснимость твоей веры была бы легко объяснима; быть может, это была бы прискорбная уверенность, явно свидетельствующая о том, что твоя вера зиждется лишь на прекрасных фантазиях, и тебе скорее следовало бы от нее отказаться. Мы этого не знаем. Но мы знаем, что если ты в своей вере забыл, что есть вера, высочайшая этой, то твоя вера была при всей ее красоте тебе лишь в погибель. Если же ты, напротив, верил Богу, то разве могла бы твоя вера когда-либо обратиться в прекрасные фантазии, которые ты скорее должен был бы оставить? Ведь разве может Он измениться, Он, у Которого нет изменения и ни тени перемены?<sup>14</sup> Разве может Он быть неверен, Он, благодаря Кому верен всякий верный человек; быть лжив, Он, благодаря Кому ты сам имеешь веру? Разве может возникнуть какое-то объяснение, которое показало бы Его иным, нежели любящим правду и держащим свое слово?

Люди, когда им все удается, когда для них наступают хорошие дни, когда они удивительным образом чувствуют себя в ладу со всем и со всеми, тогда они верят и в своей радости не забывают, наверное, непрестанно благодарить Бога; ведь всякий человек охотно благодарит за все благое, что он получает, но сердце всякого человека слишком податливо к тому, чтобы с той же охотой желать самому определить, что есть благо. Когда же все изменяется, когда на смену былой их радости приходит печаль, тогда они отпадают, тогда они теряют веру или (давайте не

<sup>14</sup> Иак 1:17.

подменять понятия) тогда они показывают, что никогда ее не имели. Но ты не поступал так, мой слушатель. Когда ты обнаруживал в самом себе изменение, когда все начинало меняться вокруг тебя, тогда ты говорил: «Теперь я признаю, я понимаю, что то, что я называл своей верой, было лишь фантазией. Я дерзко вообразил, будто я творю то высочайшее, на что человек способен в своем отношении к другому: верю ему; вообразил, будто я творю еще более высокое и прекрасное, столь блаженное, что язык не в силах это описать: верю Богу; и вся моя радость о прочих вещах помогала мне думать так; но теперь я вижу, что вся моя вера была лишь мимолетным движением, лишь отблеском моего земного счастья; но я не желаю питать себя дерзкими и пустыми речами, не желаю ни говорить, будто я потерял веру, ни сваливать вину на этот мир или на людей, ни тем более обвинять Бога». Так искал ты, мой слушатель, остановить себя самого, когда тебя тянуло заблудиться в печали; ты не ожесточался душой, ты не был столь глуп, чтобы желать представить все так, будто если бы не случилось чего-то отдельного, ты сохранил бы веру, ты не был столь жалок, чтобы желать иметь что-то общее с этой мнимой мудростью. И смотри, ты обращался, опять же, пусть и не сразу, к чаянию, присущему вере. И вот, когда тебе ничего не удавалось, когда то, что ты так долго созидал, в одно мгновение рушилось и ты снова с большим трудом должен был начинать все сначала; когда твоя рука становилась бессильной от усталости и твоя походка нетвердой, ты все же крепко держался чаяния, присущего вере, чаяния победы. И даже если ты не говорил об этом другим, чтобы они не осмеяли тебя за то, что ты при всей бедственности своего положения еще чаял победы, ты все же в глубине сердца верно хранил это чаяние. «Радостные дни, пожалуй, могут украсить мою веру, – говорил ты себе, – и я украшаю ее в такие дни венками радости, но это не может служить свидетельством того, что я верю; тяжкие времена способны наполнить слезами глаза, а душу печалью, однако они неспособны лишить меня моей веры». И если даже несчастья не прекращались, твоя душа оставалась мягкой. «Прекрасно все же, – говорил ты себе, – что Бог не желает тем самым показать мне Себя в вещах чувственных; я разделен с Ним, чтобы встретиться вновь; ведь я не мог бы желать всю жизнь быть ребенком, постоянно требующим подтверждений, знамений и удивительных дел. Если бы я оставался ребенком, то я не мог бы любить всей крепостью и всей душой. Теперь же мы разделены, мы не видимся каждый день, лишь таинственно встречаемся мы в победоносные мгновения чаяния, присущего вере».

Итак, вера чает победы, и это чаяние не может обмануться ничем, если только человек не обманывает сам себя, лишая себя чаяния тем, что он дурно полагает, будто он потерял веру или будто нечто единичное отняло ее у него, или же пытается лгать сам себе, представляя, что есть нечто единичное, имеющее силу лишить человека веры, и находит удовлетворение в тщеславной мысли, будто именно это и поразило его, находит радость в том, чтобы пугать других, уверяя, будто есть нечто такое, что способно надсмеяться над самым благородным в человеке и что дает право тому, кто это испытал, насмеяться над другими.

Однако, быть может, какой-нибудь человек скажет: эта речь очень связна и согласована сама с собою, но посредством нее не продвигаешься дальше, и значит, это никчемная и бессмысленная речь. – Посредством нее не продвигаешься дальше. Но разве человек может желать продвинуться дальше того, чтобы побеждать? Ведь тогда ему пришлось бы оставить это. Разве так уж никчемно и бессмысленно то, что человек осознает на самом деле, есть ли у него вера или нет? Ведь когда я говорю: я верю, – то мне чаще всего, пожалуй, самому неясно, что я обозначаю этими словами. Возможно, я ошибаюсь, возможно, я всего лишь выстраиваю представление о будущем, возможно, я желаю, надеюсь, алчу и жажду чего-то, томлюсь, возможно, я уверен в грядущем, и при всем при этом мне кажется, будто я тем самым верю, хотя это и не так. Если же я, напротив, задаю сам себе вопрос: чаешь ли ты победы, – тогда обмануться уже труднее; тогда я начинаю понимать, что не верит не только тот, кто не чает совсем ничего, но и тот, кто чает чего-то отдельного или основывает свое чаяние на чем-то отдельном. И разве не важно то, что лишь тот, кто разобрался с грядущим, может целиком и полностью быть в насто-

ящем; а разобраться с грядущим можно, лишь одолев его, и это возможно благодаря как раз вере, ведь она чаёт победы. Всякий раз, когда я застаю свою душу не чающей победы, я знаю, что я не верю; когда я знаю это, я знаю и что мне нужно делать; ведь если и нелегко верить, первым условием для того, чтобы я мог прийти к вере, является осознание того, верю я или нет. Ведь мы потому так часто заблуждаемся, что мы ищем уверенности в том, что сбудутся наши чаяния, вместо уверенности веры в том, что мы верим. Верующий не требует никаких доказательств в пользу своего чаяния, «Ведь, – говорит он, – если я буду искать подтверждений моей вере, то они, говоря в пользу моего чаяния, одновременно будут опровергать его. Моя душа не бесчувственна к радости и боли об отдельных вещах, но, слава Богу, отдельные вещи неспособны ни подтвердить, ни опровергнуть чаяние, присущее вере. Слава Богу! Время не может ни подтвердить, ни опровергнуть это чаяние, ведь вера чаёт вечного. И сегодня, в первый день года, который побуждает думать о будущем, я не стану ни изнурять свою душу многоразличными чаяниями, ни распылять ее в многообразных представлениях; я, напротив, соберу ее в себе самой, и, насколько возможно, здоровым и радостным выйду навстречу грядущему. Оно принесет то, что оно должно и может принести; многие чаяния будут посрамлены, многие исполнятся, так, вероятно, будет: этому научил меня опыт; но есть одно чаяние, которое не будет посрамлено, – я знаю это не из опыта, но опыт не имеет и власти это опровергнуть: это чаяние, присущее вере, а вера чаёт победы».

Есть одно небольшое слово, хорошо знакомое прихожанам, хотя и не всегда принимаемое во внимание, слово, которое кажется малым и незначительным, однако столь богатое содержанием; тихое и в то же время столь взволнованное; спокойное и в то же время столь исполненное томления. Это слово: «наконец», ведь оно звучит в конце многих молитв, читаемых в церквях: «и вот, наконец, обрящем блаженство». Старший среди нас, кто близок к итогу своей жизни, мысленно смотрит на пройденный путь, вспоминает былое, и поблекшие образы становятся вновь живыми; он переполнен многообразным содержанием пережитого, он утомлен и говорит: и вот, наконец, обрящем блаженство. Юный, кто стоит еще у начала пути, мысленно смотрит вперед на долгую дорогу, мысленно проживает то, что должно еще прийти: мучительные решения, тихие заботы, грустное томление, боязливые сомнения; он утомлен от этих мыслей и говорит: и вот, наконец, обрящем блаженство. Да, это великий дар – мочь по праву употреблять это слово, но этому никто не может научиться от другого человека, но каждый в одиночку учится этому от Бога и с Божьей помощью. Поэтому мы желаем вверить Тебе, Отец наш Небесный, наши сердца и наши мысли, чтобы радости жизни или ее печали никогда не могли так уловить нашу душу, чтобы она забыла это разрешающее нас слово; но чтобы мы и не произносили его от нетерпения и внутреннего беспокойства; то есть чтобы это слово как верный друг сопровождало нас во многих жизненных обстоятельствах, сообразовывалось бы с нами, не изменяя себе, было нашим утешением, нашей надеждой, нашей радостью, нашим ликованием, звучало для нас высоко и вдохновенно, тихо и напевно; обращалось к нам, увещевая и предостерегая, ободряя и предупреждая, пока в последний час это слово не унесет нашу душу прочь из мира, туда, где мы поймем его полный смысл, когда Бог, Который вел нас в мире, – Тот же Самый Бог, – заберет от нас этот мир и откроет Свои объятия, чтобы в них принять истосковавшуюся душу. Аминь!

## II. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше

### Молитва

Из Твоей руки, Боже наш, желаем мы все принять; Ты простираешь ее, Твою крепкую руку, уличая мудрых в их глупости; Ты отверзаешь ее, Твою нежную руку, и питаешь все живое, благословляя его. И если порой кажется, будто Твоя рука ослабела, Ты возвращаешь в нас большую веру и доверие, чтобы мы твердо держались Тебя; и если порой кажется, будто Ты отнимаешь от нас Твою руку, то мы-то знаем, что Ты лишь до времени затворяешь ее; затворяешь, тая в ней тем более щедрые благословения; затворяешь, чтобы снова отверзть и питать все живое, благословляя его. Аминь.

*Это послание пишет святой апостол Иаков  
(1 глава, стихи 17–22):*

Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. 18. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. 19. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, 20. ибо гнев человека не творит правды Божией. 21. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души.

*«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены».* – Эти слова столь дивны, столь притягательны, столь трогательны, что, конечно, не их вина, если уши слушающего были к ним глухи и если сердце его не откликалось на них. Это слова Господня апостола, и хотя мы не глубже него понимаем их смысл, мы все же верим и знаем, что эта речь не пуста и беспочвенна, что это не пустомыслие в изящном облачении, но что эти слова тверды и надежны, испытаны и верны, ведь они отвечают жизни апостола, написавшего их. И сказаны они не между прочим, но с особым вниманием; и не минувшему они принадлежат, но их сопровождает увещание, обращенное к нам: *Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные* (стих 16); и мы дерзаем верить, что они не только сильны возвысить душу, но имеют крепость и нести ее – слова, которые несли апостола по морю жизни через все шторма и бури. Они сказаны не без связи с другими словами; апостол хочет предотвратить ужасное заблуждение, будто Бог искушает человека, хочет предотвратить прельщение сердца, желающего искушать Бога, и говорит: *Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные*; и мы дерзаем быть твердо убежденными в том, что это увещание сильно разоблачит прельщение, что оно сильно остановит заблуждающуюся мысль.

*«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены».* – Эти слова вновь и вновь звучат в мире, и все же многие продолжают жить так, словно они никогда не слышали их; а если бы они услышали их, то, пожалуй, это сбilo б их с толку. Они идут беззаботно по жизни, и дружелюбная судьба делает все для них легко доступным, всякое их желание исполняется, всякое их дело имеет успех. Не ведая, как, пребывают они в сердцевине движения жизни, они словно звено в цепи, соединяющей прошлое с будущим; их несут вперед волны современности, и им неважно, почему это так. Привольно дыша в объятиях природы, по законам которой человеческой жизни позволено развиваться в мире так же, как ковром цветов расцветать на лугу, они

остаются радостны и довольны в череде житейских событий и не желают ни в какое мгновение отрываться от них, всему честно воздавая свое: платя благодарностью тому, кому они приписывают благие дары; оказывая помощь тому, кто, как они думают, нуждается в ней. Что в мире есть добрые и совершенные дары, они, конечно, знают, и они знают, откуда эти дары приходят; ведь земля приносит урожай, и небо дает дождь ранний и поздний<sup>15</sup>, и друзья и родные заботятся о лучшем для них, и их замыслы, разумные и мудрые, имеют успех, что естественно, ведь и сами они мудры и разумны. Для них жизнь не таит загадки, и однако сама их жизнь это загадка, это сон – и серьезное увещание апостола: *Не обманывайтесь* – не останавливает их, у них нет времени уделить ему внимание, равно как и словам, о которых идет у нас речь, – ведь разве заботит волну, откуда она приходит и куда она уходит потом? И если бы среди них нашлись те, кто вдруг, очнувшись для чего-то более высокого, уделили словам апостола внимание, они быстро бы справились с этими словами. Они на мгновение заняли бы ими свою мысль, а затем сказали бы: «Мы теперь поняли эти слова, так дайте же нам новые мысли, которые еще не поняты нами». И ведь они не были бы неправы: слова апостола не трудны; и все же тем, что, поняв эти слова, они пожелали бы их оставить, они показали бы, что на самом деле они не поняли их.

*«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены».* – Эти слова так утешительны, так умягчают боль, и все же много ли найдется тех, кто уразумел в них обилие утешения и припал к ним, и тех, кто верным образом сумел найти в них утешение! Обремененные заботами, те, которым жизнь не дала состариться и умереть, оставаясь детьми, кого она не кормила грудным молоком удачи, но кто рано были отучены от груди; печальные, искавшие проникнуть мыслью через все изменчивое к тому, что пребывает, – они восприняли слова апостола и вняли им. Чем полнее им удавалось погрузиться в эти слова душой, забыть все, кроме них, тем вернее эти слова их укрепляли, тем вернее эти люди исполнялись доверия. Но вскоре их крепость сменяло разочарование; ведь сколь бы сильное доверие они ни обретали, они при этом не получали силы плыть через море жизни; напротив, их терзаемая заботами мысль и растерянный дух искали вернуться вспять к богатому утешению этих слов, которое, как им казалось, противоречило опыту их жизни. Наконец, они начинали считать эти слова едва ли не опасными для своего душевного мира; ведь они пробуждали в них доверие, которое постоянно не оправдывалось, они давали им крылья, которые хотя и возносили их к Богу, но не помогали им идти по жизни. Не отрицая, что эти слова несут действительное утешение, эти люди начинали чуть ли не бояться этого утешения, даже если они и хвалили его. Если бы у некоего человека было роскошное украшение, которое никогда бы не приедалось ему, но всегда казалось бы ему чудесным, и время от времени он доставал бы его из шкатулки, чтобы полюбоваться, но тут же вынужден был бы признаться себе: я не могу носить его в повседневной жизни, и у меня нет надежды дожидаться торжественного повода для того, чтобы его надеть, – то, откладывая затем это украшение в сторону, он с грустью думал бы о том, что хотя он и владеет им, но жизнь не дает ему возможности по-настоящему с радостью достать его из шкатулки.

Так и эти люди сидели в тихой печали; они не ожесточались против утешения этих слов, они были достаточно смиренны, чтобы признать, что жизнь это темная речь, и так же, как они, по их разумению, были скоры на слышание, ожидая разъясняющего слова, так они были и медленны на слова, медленны на гнев. Они не осмеливались бросаться словами, лишь бы пришел благоприятный час. Ведь если бы он пришел, они были бы спасены: так они полагали, и так, быть может, сказал бы ты, мой слушатель. «Есть лишь Дух, который свидетельствует на небе, и нет духа, который свидетельствовал бы на земле!»<sup>16</sup> И лишь небо и дух, бегущий земли, знает,

<sup>15</sup> Ср. Иак 5:7.

<sup>16</sup> Ср. 1 Ин 5:7–8.

что Бог благ, а земная жизнь ничего не знает об этом! Радость обитает лишь на небесах, а на земле – одни печали или всего лишь знание о том, что на небе есть радость! Бог, Сущий на небесах, забирает от нас благие дары и прячет их от нас на небе, чтобы некогда мы получили их в ином мире!» – так, быть может, говорил ты в заблуждении твоего сердца. Ты не требовал, чтобы ради тебя были явлены знамения и чудеса, ты не требовал по-детски, чтобы всякое твое желание было исполнено, лишь об одном свидетельстве просил ты неустанно; ведь твоя обремененная заботами душа хранила одно лишь желание. Если бы оно было исполнено, то настал бы долгожданный торжественный повод, и ты от всего сердца смог бы засвидетельствовать, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше. Но, смотри, как раз в этом тебе было отказано; и твоя душа потеряла покой, ее начало бросать из стороны в сторону страдание, вызываемое желанием; она не стала упрямой и дикой, ты не отбросил в нетерпении узду смирения, ты не забыл, что ты на земле, а Бог на небе. Смирненно молясь и горя желанием, искал ты словно бы искусить Бога: это желание для меня так важно; моя радость, мой душевный мир, мое будущее, – все зависит от этого; для меня это столь важно, для Бога же это так легко, ведь Он – Всемогущий. Но твое желание оставалось не исполнено. Напрасно ты искал покоя; бесплодно и неустанно ты пробовал все средства, ты поднимался на головокружительные вершины предположений, чтобы следить, не откроется ли возможность найти то, чего ты ищешь. Как только тебе казалось, что ты видишь искомое, ты был уже наготове с молитвами, желая видимое сделать действительным. Но эта возможность оказывалась миражом. Тогда ты снова спускался, ты предавался дурманящей слабости, внушенной печалью, и думал, что должно пройти время; и было утро, и был вечер, но день, которого ты так жаждал, не наступал. И ведь ты делал все, ты молил непрестанно, все более глубоко погружаясь в молитву, все более искушающе. Ах! и все равно не случалось того, чего ты искал. И ты отступался, ты готов был терпеть, ты готов был тихо томиться и ждать, если бы только ты мог быть уверен в том, что вечность принесет исполнение твоего желания, принесет тебе то, что искали видеть твои глаза и чего жаждало твое сердце. Ах! и в этой уверенности тебе тоже было отказано. Но вот, когда суетная мысль устала трудиться, а бесплодные желания изнурили душу, тогда, быть может, ты весь утих, и твоя душа неприметно исполнилась кротости, восприимлющей слово, насажденное в тебе и способное сделать твою душу блаженной, – слово о том, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше. И тогда ты исповедовал в смирении, что Бог, конечно, не обманул тебя, ведь в обмен на твои земные хотения и негодные просьбы Он дал тебе небесное утешение и святые мысли; что Он не обделил тебя, ведь, отказав тебе в исполнении твоего желания, Он воздвиг в твоём сердце веру, и вместо желания, которое, если бы и во всем было исполнено, принесло бы тебе самое большее весь этот мир, даровал тебе веру, благодаря которой ты обрел Бога и победил этот мир<sup>17</sup>. Тогда ты познавал в смиренной радости, что Бог и поныне – всемогущий Творец неба и земли, Который не только сотворил мир из ничего, но и явил чудо, еще превосходнейшее: из твоего нетерпеливого и переменчивого сердца соделал нетленную красоту кроткого и молчаливого духа<sup>18</sup>. Тогда ты признавал, пристыженный, что это хорошо, так хорошо для тебя, что Бог не позволяет Себя искушать; тогда ты начинал понимать увещание апостола и то, как оно противостоит заблуждению, состоящему в желании искушать Бога. Тогда ты сознавал, сколь скверно ты себя вел. Ведь ты хотел, чтобы Бог заместил Свои мысли о том, что тебе полезно, твоими представлениями, и в то же время ты хотел, чтобы Он был всемогущим Творцом неба и земли, способным поэтому исполнить твое желание. Но ведь если бы Бог стал разделять с тобой твои представления, Ему пришлось бы перестать быть всемогущим Отцом. В своем ребячливом нетерпении ты хотел словно бы исказить вечное существо Бога, и ты был достаточно ослеплен для того, чтобы внушать самому

---

<sup>17</sup> Ср. 1 Ин 5:4.

<sup>18</sup> 1 Пет 3:4.

себе, будто тебе помогло бы, если бы Бог на небесах знал бы, что тебе полезно, не лучше, чем ты сам, – так, словно тебе не пришлось бы однажды с ужасом обнаружить, что ты хотел того, что ни один человек не в силах был бы понести, если бы таковое осуществилось. Позвольте нам на мгновение сказать нечто по нашему неразумию и по человеческому рассуждению<sup>19</sup>. Если бы был человек, которому ты бы по-настоящему доверял, потому что ты верил бы, что он желает тебе блага; но у тебя было бы одно представление о том, что тебе полезно, а у него другое, тогда – не правда ли? – ты стал бы пытаться убедить его, стал бы, возможно, просить и умолять его исполнить твое желание, но если бы он продолжал отказывать тебе в этом, то ты перестал бы его просить, ты сказал бы: если бы я теперь своими мольбами подвиг его сделать то, что он не считает правильным, тогда случилось бы нечто худшее: я оказался бы слаб настолько, что сделал бы и его столь же слабым, и сразу бы потерял и его и мое к нему доверие, даже если бы в момент опьянения я и назвал его слабостью любовью.

Или, быть может, с тобой этого не было; ты был уже, возможно, слишком взрослым, чтобы питать такие ребячливые представления о Боге; чересчур зрелым, чтобы так слишком по-человечески думать о Нем; ты желал, возможно, подвигнуть Его твоим упорством. Ты признавал, конечно, что жизнь это темная речь, но ты не был по увещанию апостола скор на слышание в ожидании, не прозвучит ли слово, которое все разъяснит, нет, ты был, вопреки его увещанию, расторопен на то, чтобы злиться. Жизнь – это темная речь? Так пусть же она таковой и пребудет, ты не станешь заботиться о разъяснении! – и твое сердце ожесточалось. Внешне ты был, возможно, спокойным и дружелюбным, и твоя речь была, возможно, доброжелательной, но в самой глубине потаенной мастерской твоей мысли ты говорил, нет, ты этого не говорил, но там ты слышал голос, который говорил: Бог искушает человека. И холод сомнения леденил твой дух, и сомнение мертвило твое сердце. И если жизнь порой вновь пробивалась внутри тебя, там уже неистовствовали дикие голоса, голоса, которые не принадлежали тебе, но которые при этом звучали у тебя изнутри. Ведь почему твоя жалоба была столь бурной, твой крик столь пронзительным, почему в самой твоей молитве был такой вызов? Не потому ли, что ты полагал свои страдания столь тяжкими, свои горести столь убийственными, что считал свою жалобу такой справедливой, а свой голос сильным пронзить небеса и вызвать Бога из его потаенных глубин, где Он сидел, как мнилось тебе, в равнодушном спокойствии, безразличный к миру и ко всем Своим творениям? Но Небо затворяет себя для такой дерзкой речи, и пребывает написанное: *Бог... и Сам не искушается ни от кого*<sup>20</sup>. Бессильна была твоя речь, бессильна была твоя мысль и твоя рука; и Небо не слышало твоей молитвы; но когда ты смирялся под крепкую руку Божию<sup>21</sup> и в духе своем уничиженно вздыхал: «Боже мой, Боже мой, грех мой велик, он больше, чем то, что может быть прощено», – тогда небеса вновь отверзались, и Бог смотрел, как об этом пишет пророк, из своего окна вниз на тебя, и говорил: «Еще малое время; еще малое время, и Я обновлю лице земли»<sup>22</sup>, – и вот лицо твое обновлялось, и в твоей дерзкой душе сострадающая Божия милость взращивала кротость, восприимлющую слово апостола. Тогда ты, смиряясь пред Богом, признавал, что Бог не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь своими страстями<sup>23</sup>, как и ты обольстился своими гордыми, высокомерными и упрямыми мыслями. Тогда ты ужасался своего заблуждения, будто мысль о том, что Бог искушает человека, способна дать разъяснение жизни; ведь когда жизнь стала для тебя темной речью, ты прислушался к такому разъяснению, но теперь тебе приходилось признать, что оно как раз сделало все необъяснимым. Тогда ты признавал, смиренный и

<sup>19</sup> Ср. 2 Кор 11:21; Рим 3:5.

<sup>20</sup> Иак 1:13.

<sup>21</sup> 1 Пет 5:6.

<sup>22</sup> Пс 103:30.

<sup>23</sup> Ср. Иак 1:13–14.

пристыженный, что хорошо, что Бог не позволяет Себя искушать, что Он – всемогущий Бог, Который силен сокрушить всякую дерзкую мысль, не давая тебе в отчаянии остановиться на таком разъяснении темной речи жизни, которое ни один человек не способен вынести.

*«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходят свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены».* – Эти слова так понятны, так просты, и все же много ли тех, кто действительно их понимают, кто действительно понимают, что эти слова – драгоценная монета, которая великолепнее всех сокровищ мира, и в то же время – разменная монета, полезная в повседневной жизни.

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный от Бога». – Апостол употребляет два выражения. «Всякое даяние доброе», – говорит он и выявляет этим внутреннейшее существо даяния, дара: показывает, что он – здоровый и благословенный плод, лишенный всякой нездоровой и пагубной примеси. «Всякий дар совершенный», – говорит он, выявляя, в каком ближайшем отношении находится с Божьей помощью это доброе даяние к приемлющему его человеку: давая понять, что оно, будучи благим и добрым в себе и для себя, не оказывается для человека несущим ему урон и гибель. Этим двум выражениям отвечают два других. «Дар нисходит свыше, от Отца светов». «Нисходит свыше», – говорит апостол, обращая мысль верующего вверх, к небесам, откуда берет начало все доброе: и то благословение, что питает уста, и то, что питает сердце; вверх, к небесам, откуда нисходят добрые духи, служащие спасению человеков<sup>24</sup>; вверх, к небесам, где добрые намерения обращаются в небесные дары. «От Отца светов», – говорит апостол, указывая, что Бог Своим вечным светом пронизывает всю тварь, что Он ведаёт мысли людей издалеча и знает доподлинно все их пути, что Его вечная любовь все предваряет, так что всякое Его «даяние доброе» становится «совершенным даром». Ведь Бог, Сущий на небесах, дает дары не так, как человек, который даже если бы и имел что-то хорошее, что он хотел бы подарить, дарил бы это как бы вслепую и наугад, с радостью, конечно, потому что это было бы доброе даяние, но и с грустью, ведь он не мог бы доподлинно знать, на пользу ли пойдет другому его дар. «Всякий добрый и всякий совершенный дар», – говорит апостол; «всякий» – что это значит? Указывает ли этим апостол на то, что широко простертый небесный кров это огромная кладовая, и что при этом все содержимое неба это благие и добрые дары; указывает ли он на то, что Бог берет из этих богатых запасов и, сообразуясь со временем и с возможностями, изредка дает немного одному и немного другому, тому больше, а этому меньше, а кому-то совсем ничего, но при этом все, что Он дает – благое и совершенное? Со вниманием выслушаем следующие слова: «у Которого нет изменения и ни тени перемены». Если бы апостол желал представить все так, как мы сказали, то он бы, наверное, вместо этих слов добавил бы: «по любви Божией, по любви Бога милости и утешения, дающего благие дары», – или сказал бы что-то подобное сильнее и лучше, чем мы способны сказать; он, наверное, прежде всего наставил бы верующего к благодарности за то, что ему уделяются благие дары, – к благодарности, сознающей рамки времени и возможностей. Но он не делает этого. Он предостерегает от заблуждения, будто Бог искушает человека, и от заблуждения, будто Бог позволяет Себя искушать; он подчеркивает, что Бог неизменен, что Он пребывает Тем же, тогда как все изменяется; он увещевает любить Бога так, чтобы наше существо могло стать подобным Ему, чтобы мы могли обрести Бога в неизменности и постоянстве и спасти свои души в терпении<sup>25</sup>. Таким образом, он говорит не о характере отдельных даров, но о вечном отношении Бога к верующему. Когда радость освещает жизнь, и все в ней становится светло и ясно, апостол предостерегает от этой ясности и наставляет все возводить к Отцу светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. Когда печаль кладет тень на нашу жизнь, когда

---

<sup>24</sup> Ср. Евр 1:14.

<sup>25</sup> Ср. Лк 21:19.

уныние затуманивает наш взор, когда тучи забот закрывают Бога от наших глаз, тогда звучит увещание апостола, что у Бога нет ни тени перемены. Апостол предостерегает от того, чтобы блаженное существо Бога было заслонено беспокойством искушения, внушающего, будто Его сердце холодно или слабо; он подчеркивает, что Отец светов, Своей всемогущей рукой соделавший все хорошо весьма<sup>26</sup>, и теперь постоянно, во всякое мгновение, творит все благим, творит без изъяна добрые и совершенные дары для всех, у кого есть еще сердце для того, чтобы быть смиренными, есть еще сердце для того, чтобы быть исполненными доверия.

Однако сомнение хитро и лукаво, оно не упрямится и не кричит о себе, как порой полагают; оно скромно и лукаво, оно не вторгается дерзко и бесцеремонно, и чем скромнее оно, тем оно опаснее. Оно не отрицает ни того, что эти слова прекрасны, ни того, что они утешительны, ведь если бы оно стало отрицать это, сердце возмутилось бы против него; оно лишь говорит, что эти слова трудны и едва ли не загадочны. Оно же, мол, желает помочь обремененной заботами душе понять эти слова апостола о том, что всякий благой и всякий совершенный дар от Бога. «Что этим сказано?» – говорит оно. «Разве не то, что все, что приходит от Бога, это благой и совершенный дар, и всякий дар, который благ и совершенен, приходит от Бога». Казалось бы, это объяснение просто и естественно, и все же в него лукаво вкралось сомнение. И вот оно продолжает: «поэтому, чтобы, прибегнув к этим словам, человек мог стяжать мир в своей жизни, он должен быть способен или установить, что из приходящего приходит от Бога, или же установить, какие из даров могут быть по праву и поистине названы благими и совершенными. Но как это возможно? Ведь разве человеческая жизнь является непрерывной цепью чудес? Как же человеческому разуму суметь проложить путь через необозримый ряд производных причин и следствий, пройти через все промежуточное и взойти таким образом к Богу? И разве способен человеческий разум решить с уверенностью, какой дар для человека благ и совершенен? Разве он не терпит в этом раз за разом крушение? Сколь часто и человечество, и отдельные люди с болью для себя постигали, что дерзко искать проникнуть туда, куда нет доступа человеку – это сумасбродство, не остающееся безнаказанным!» И здесь сомнение оканчивало свое объяснение слов апостола, тем самым успев покончить с его словами, успев превратить апостольскую авторитетную речь в болтовню, переходящую из уст в уста без силы и смысла. Сомнение вело себя достаточно скромно и не требовало начисто стереть эти слова и предать их вечному забвению. Оно лишь вырывало их из сердца и предавало устам.

Так ли это было, мой слушатель? Может быть, эти слова принадлежат не Господню апостолу? Может быть, они принадлежат воинству духов поднебесных? Может быть, над ними тяготеет проклятие быть бесприютными в мире и не находить себе дом в человеческом сердце; может быть, тяготеет над ними рок делать человека растерянным? Нельзя ли остановить это пугающее движение, в котором мысль изматывает саму себя, неспособная двинуться дальше? Быть может, это Бог искушает человека если не чем иным, то тем, что Он возвещает слово, которое просто запутывает его мысль?

Апостол Павел говорит: «... всякое творение Божие хорошо, если принимается с благодарением»<sup>27</sup>. Апостол говорит эти слова прежде всего с тем, чтобы предостеречь от земного мудрования, которое желает поработить верующего букве закона. И что при этом делает апостол? Он возвышает душу верующего над земными и конечными заботами, над мирским мудрованием и сомнением с помощью божественной мысли, что человек должен всегда благодарить Бога. Такая благодарность ведь совершенно отлична от той, которую один человек согласно обычаю воздает другому человеку; ведь лжеучителя<sup>28</sup> как раз считали, что верующие грешат против Бога, когда они преступают обычаи. Не верно ли тогда для всякого человека в его отно-

<sup>26</sup> Быт 1:31.

<sup>27</sup> 1 Тим 4:4.

<sup>28</sup> О которых говорит апостол Павел в 1 Тим 4:1–3.

шении к Богу, что всякий дар есть дар благой и совершенный, когда он принимается с благодарением?

Не так ли ты, мой слушатель, толковал эти слова апостола? Тогда ты не терялся, размышляя о том, какой из даров благ и совершенен, или о том, какой из даров от Бога; ведь, – говорил ты, – всякий дар благ, когда он принимается с благодарением из руки Божией, и всякий благой и совершенный дар приходит от Бога. Ты не спрашивал со страхом: что же приходит от Бога, – ты радостно говорил от чистого сердца: то, за что я благодарю Бога. Ты не обременял свою душу рассмотрением того, что есть благой и совершенный дар; ведь ты, исполненный доверия, говорил: я знаю, это то, за что я благодарю Бога, и потому я благодарю его за это. И когда ты так толковал это апостольское слово, твое сердце расширилось, и ты не искал узнать от жизни многое, ты желал познать лишь одно: что *любящим Бога все содействует ко благу*<sup>29</sup>.

Является ли тогда слово апостола о том, что всякий благой и всякий совершенный дар нисходит свыше, от Отца светов, темной и трудной речью? И если ты думаешь, будто ты не можешь его понять, дерзнешь ли ты настаивать на том, что ты желал его понять? Когда ты сомневался, что из всего приходит от Бога, или какой из даров является благом и совершенным, отваживался ли ты испытать это? И когда радость, легко играя, улыбалась тебе, благодарил ли ты Бога? И когда ты был столь силен, что словно бы не нуждался ни в какой поддержке, благодарил ли ты тогда Бога? И если тебе было отказано в том, чего ты желал, благодарил ли ты Бога? И когда ты сам должен был отказать себе в том, чего ты желал, благодарил ли ты Бога? И когда люди поступали с тобой несправедливо и обижали тебя, благодарил ли ты Бога? Мы, конечно, не говорим, что несправедливость людей переставала тем самым быть несправедливостью, к чему такая нездоровая и скверная речь! Было ли это несправедливостью, ты реши сам; но возвел ли ты несправедливость и обиду к Богу и принял ли ее из Его рук как благой и совершенный дар? Если да, тогда ты достойно истолковал это слово апостола, тогда твое толкование великолепнее, чем если бы все ангелы заговорили огненными языками.

Но кто имеет такое мужество, такую веру, кто так любит Бога? Кто такой радостный и стойкий воин, бдящий на жизненном посту, никогда не смежая глаз? И если ты, мой слушатель, и поступал так, разве не скрывал ты это от самого себя? Не говорил ли ты сам себе: я понимаю слово апостола, но в то же время я понимаю, что я слишком труслив или слишком горд, или слишком ленив для того, чтобы захотеть его на самом деле понять? Не увещевал ли ты сам себя? Не размышлял ли о том, что у боящегося, даже если эта речь и кажется суровой, что у боящегося сердце тоже лживое и что он лишен неподдельной любви? Не размышлял ли над тем, что тот, кто падает духом, тоже подлежит суду, а смиренное сердце не приходит на суд? Не размышлял ли о том, что печальный тоже не любит Бога всем сердцем, а тот, кто радостен в Боге, победил этот мир? И бдел ли ты тогда, по крайней мере, над самим собой? Держался ли свято слова апостола? Хранил ли его в красоте чистого сердца, не желая ничем, никакой хитрой взяткой остроумия откупиться от глубокой боли, с которой тебе приходилось снова и снова сознавать, что ты никогда так не любил, как любят тебя: сознавать, что ты был неверен, когда Бог был верен<sup>30</sup>; что ты был теплохладен, когда Он был горяч; что Он посылал тебе благие дары, а ты обращал их во вред себе; что Он тебя спрашивал, а ты не желал отвечать; что он говорил с тобой, как с другом, а ты все прослушал; что Он обращался к тебе серьезно, а ты все искажил; что Он исполнял твое желание, а ты благодарил Его тем, что приносил Ему новые желания; что он исполнял твое желание, а ты, оказывается, не желал по-настоящему и был скор на гнев? Чувствовал ли ты глубокую печаль в том, что ты для того, чтобы сказать о своем отношении к Богу, нуждаешься в столь многих словах? Был ли ты хотя бы честен по отношению к себе самому, и значит, по отношению к Богу в твоих с Ним отношениях? Не откладывал ли ты ответ

---

<sup>29</sup> Рим 8:28.

<sup>30</sup> 2 Тим 2:13.

перед Богом, не предпочитал ли, замкнувшись, заниматься самоедством? Был ли ты скор на то, чтобы терпеть боль этого ответа, размышлял ли над тем, что Он возлюбил тебя первым? Был ли ты скор на то, чтобы судить себя самого и признать, что Он отнюдь не обязан тебя любить, ведь ты так медлен на то, чтобы любить в ответ? Если ты так поступал, ты обретешь, конечно, мужество благодарить – благодарить и тогда, когда то, что происходит, странно для твоих глаз; ты обретешь мужество понимать, что всякий благой и всякий совершенный дар нисходит свыше, мужество уразуметь это в любви и веру принять это мужество; и это тоже – благой и совершенный дар.

*«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходят свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены».* – Эти слова столь целебны, столь врачующи, и все же часто ли исполненной раскаяния душе удавалось дать им по-настоящему исцелить ее, часто ли понимала она судящую серьезность и в то же время сострадательную милость этих слов?

Или, быть может, мой слушатель, в твоей жизни не было повода считать трудными эти слова? Быть может, ты всегда был доволен собой, так доволен, что ты, возможно, благодарил Бога за то, что ты не таков, как прочие люди? Быть может, ты был так умен, что находил глубокий смысл в бессмысленной речи о том, будто это великолепно – быть не таким, как прочие люди? ... Что тогда могло сделать для тебя трудными эти слова? Если бы человек сам был благим и совершенным даром, если бы он был лишь приемлющим и принимал бы все из руки Божией, да! Как смог бы он принять что-либо иное, нежели благие и совершенные дары? Но когда ты смирялся с обычной участью человека, ты ведь признавал тогда, что ты и не благ, и не совершенен, что ты не являешься лишь приемлющим, но все, что ты принимаешь, искажается. Можно ли равное быть постигнуто чем-то иным, нежели равным; может ли благое оставаться благим в чем-то ином, нежели благое; может ли здравая пища остаться здоровой и в больной душе? Человек не является лишь приемлющим, он привносит нечто от себя, и ты никак не мог понять, как то нездоровое, что ты привносишь, может превратиться во что-либо, кроме как во вред для других. Ты понимал, наверное, что только твое благодарение Богу делало все для тебя благим и совершенным даром, ты твердо держался того, что и другой человек может таким же образом все обрести; но была ли сама твоя любовь, рождавшая благодарение, была ли она чиста, не искажала ли она приемлемое тобой? Способен ли человек на что-то большее, нежели любить? Знает ли мысль и язык более высокое выражение любви, нежели непрестанное благодарение? Нет, лишь более низкое, более смиренное; ведь даже тот, кто непрестанно готов благодарить, любит Бога в меру своего совершенства; но любовь человека к Богу лишь тогда истинна, когда человек любит Бога в сознании своего несовершенства. Какова тогда эта любовь? Это любовь покаянная, которая прекраснее всякой другой любви, ведь она обращена к Богу! вернее и глубже всякой другой любви, ведь когда ты каешься, тебя любит Сам Бог. В покаянии ты все приемлешь от Бога, даже выражение благодарности, которое ты приносишь Ему, – приносишь, подобно ребенку, который что-то дарит родителям, в чьих глазах этот дар – забава, ведь они принимают то, что сами дали. Не так ли было с тобой, мой слушатель? Ты желал непрестанно благодарить Бога, но даже это было столь несовершенным. Тогда ты понимал, что Бог есть Тот, Кто все в тебе творит и Кто поэтому позволяет тебе иметь эту радость ребенка оттого, что Он принимает твое благодарение как дар от тебя. Эту радость Он дарит тебе, если ты не испугался боли раскаяния и той глубокой печали, в которой человек становится по-детски радостен в Боге, если ты не испугался понять, что вот – любовь: не то, что мы любим Бога, но то, что Бог любит нас.

И ты, мой слушатель, ты, кто простым и смиренным образом понял мысль о том, что ты не таков, как прочие люди, найдя в ней глубокий смысл, сумел ли ты столь же легко избежать неверного понимания читаемых нами апостольских слов? Ты, конечно же, здраво разумел, что

всякий благой и всякий совершенный дар нисходит от Бога, ах! но ты не мог постичь, как может этот дар не обратиться в тебе во что-то вредоносное. Так, роса и дождь – это благой дар свыше, но если бы ядовитая трава сознавала саму себя и могла говорить, она, возможно, сказала бы дождю: «Остановись, вернись обратно в небо, чтобы я лучше погибла от засухи, не освежай мой корень, чтобы я не росла, становясь еще более вредоносной!»! Думая так, ты не понял ни себя, ни слово апостола; ведь если бы все так и было, то неверным было бы, что от Бога нисходит всякий совершенный дар. Ведь Бог тогда был бы Кем-то, Кто не больше боязливое человеческого сердца; как же мог бы от Него нисходить тогда всякий благой и совершенный дар?

Возможно, в твоей жизни было что-то такое, о чем ты желал, чтобы оно стало небывшим, и если бы это произошло, ты бы с радостным благодарением принял всякий благой дар из руки Божией. Твоя радость при одной мысли о том, что этого могло бы не быть, была столь велика, что этим ты словно бы желал искусить Бога сделать то, что случилось, небывшим. Но Бог не искушается никем. Ты пытался, быть может, забыть это, дабы твое благодарение не было бессильным, словно шатающийся зуб. Ах! и если ты сумел это забыть, как мог бы ты понять тогда слово апостола? Если для тебя оказалось возможным это забыть, то тебе не пришел всякий благой и всякий совершенный дар от Бога; ты удалил себя от благословения не тем, что некогда совершил, но своим жалким, самолюбивым и своевольным пониманием слова апостола – так же, как удалил себя от него и тот, чье желание не было исполнено, и кто при этом не считал неисполнение желания тоже благом и совершенным даром. И здесь неважно, что твоя задача, быть может, намного трудней, чем его.

Или, быть может, ты понимал слово апостола иначе, думая, что и наказание Божие – это благой и совершенный дар. Твой внутренний гнев словно желал прийти на помощь гневу Божьему, позволяя наказанию тебя терзать; однако это наказание оказывалось другим, чем ты ожидал. Оно, быть может, затрагивало не только тебя, хотя виновен был именно ты, – оно, быть может, распространялось на других, хотя именно ты должен был быть его мишенью. Если ты, тихо размышляя, и признавал, что божественное Провидение умеет точно попасть в человека, умеет сделать себя ему понятным, даже если никто другой не понимает его, все же слово апостола становилось для тебя темным, ведь наказание давало тебе повод искушаться. Ты терялся в двусмысленности того, что считать наказанием, а что просто случаем; и если все было лишь случаем, твоя душа требовала наказания, а если это было наказанием, ты не мог принять его целиком на себя. Ты был готов отказаться от всего, оставить всякое желание, всякую просьбу; ты был готов оставить представление о том, что то лучшее, что ты творил в предельном усилии твоей души, само за себя свидетельствовало о своей благодати и о том, что оно – нечто иное, нежели скверна и грех; ты был готов терпеть любое наказание, но то, что сопрягалось с твоим наказанием – сопрягалось, затрагивая других людей, – ты не мог понести, и ты недоумевал: разве и это – благой и совершенный дар? И вот твоя душа помрачалась, и ты не мог понять слово апостола. Но что ты делал тогда? отбрасывал это слово? О! нет, ты его удерживал крепко, хотя тебе приходилось нелегко. И когда вокруг собирались все демоны, готовые освободить твою душу от безумия отчаяния с помощью объяснения, будто Бог не есть любовь, – не правда ли? – тогда ты крепко хватался за это слово, даже если и не понимал его, ведь ты в своем непонимании все же надеялся на него, и выронить его тебе было страшнее всего другого.

Поступал ли ты так, мой слушатель? Если да, то хотя твой внешний человек и тлел, но внутренний обновлялся<sup>31</sup>, и ты начинал понимать, что всякий благой и всякий совершенный дар нисходит свыше, если он принимается с благодарением, ты начинал понимать, что наказание это благодарение не только за наказание, но и за всю свою участь, и что тот, кто в раскаянии желает просто претерпеть наказание, тот в глубочайшем смысле не желает любить в

---

<sup>31</sup> 2 Кор 4:6.

настоящем сознании своего несовершенства. И как Сам Господь говорит: уже сегодня<sup>32</sup>, так и Господень апостол говорит: уже сегодня всякий благой и всякий совершенный дар нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены уже сегодня, и это при том, что Он сегодня Тот же, что и вчера<sup>33</sup>.

*«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены».* – Эти слова столь дивны, столь притягательны, столь трогательны, они так утешительны, так умягчают боль, они так просты и понятны, так целебны и так врачующи, что мы молим тебя, Боже наш, чтобы ты сделал уши тех, кто еще не внял им, готовыми их принять; чтобы Ты исцелил неверно понимающее их сердце и научил его их понимать; чтобы ты склонил заблуждающуюся мысль под спасительное иго послушания этому слову; чтобы ты дал исполненной раскаяния душе сердечную чистоту и прямоту, чтобы дерзновенно его понять; и чтобы ты даровал понявшим его все возрастать и возрастать в блаженстве, снова и снова понимая его. Аминь.

---

<sup>32</sup> Кьеркегор имеет в виду слова Спасителя, сказанные Им на кресте благо разумному разбойнику: *уже сегодня* (в синодальном переводе: *ныне же*) *будешь со Мною в раю*.

<sup>33</sup> Ср. Евр 13:8.

## Три назидательные беседы

*Моему покойному отцу Михаэлу Педерсену Кьеркегору, некогда торговавшему трикотажем в нашем городе, посвящаются эти беседы*

### Предисловие

Хотя эта небольшая книга (названная «беседами», а не «проповедями» потому, что ее автор не имеет власти *проповедовать*; «назидательными беседами», а не беседами для назидания, потому, что говорящий ни в коей мере не претендует быть *учителем*) прекрасно знает вместе со мной то, что я, ее автор, знаю еще лучше: что она неприметна, и потому, рискнув выйти в путь, легко может потеряться или погибнуть в этом огромном мире, или быть унесенной хищной птицей и так и не прийти туда, куда идет, – все же в мгновение прощания с ней я смело закрыл за ней дверь, без страха, без всякой тени боязни. И вот в своей малости выходит она и сама о себе печется, и идет, исполняя порученное и узнавая свой загадочный путь, – пока не находит того, кого я с радостью и благодарностью называю *моим* читателем, – находит того, кто ищет ее, того чуткого человека, кто читает вслух самому себе то, что я пишу в тишине; кто разрешает своим голосом чары письма, своим голосом изводит из плена то, что немые буквы словно таят на устах и, тщетно сиюсь сказать это сами, заикаются, произнося лишь несвязные звуки; кто настроен так, что спасает пленные мысли, которые жаждут на волю, – того чуткого человека, кого я с радостью и благодарностью называю *моим* прибежищем; кто, делая мое своим, делает для меня больше, чем я для него. И если бы даже она его не нашла или если бы нашла не таким, мне все же было бы радостью отправить ее; ведь «что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его: он доставляет душе господина своего отраду» (Притч 25:13).

С. К.

### Любовь покрывает множество грехов

#### 1 Пет 4:7–12<sup>34</sup>

Что делает человека великим, дивным в глазах всякой твари, приятным в очах Божиих? Что делает человека сильным, сильнее всего мира; что делает человека слабым, слабее ребенка? Что делает человека твердым, тверже скалы; что делает человека мягким, мягче, чем воск? – Любовь. Что старше всего? Любовь. Что будет жить дольше всего? Любовь. Что не может быть присвоено, но делает все своим? Любовь. Что не может быть отдано, но само дает все? Любовь. Что стоит, когда все преходит? Любовь. Что утешает, когда бессильно всякое утешение? Любовь. Что остается, когда все изменяется? Любовь. Что пребывает, когда несовершенное упраздняется? Любовь. Что свидетельствует, когда пророчество умолкает? Любовь. Что не ослабевает, когда видения прекращаются? Любовь. Что изъясняет, когда темная речь завершается? Любовь. Что претворяет благословение в изобилии даров? Любовь. Что претво-

---

<sup>34</sup> Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многообразной благодати Божией. Говорит ли кто, *говори* как слова Божии; служит ли кто, *служи* по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь. Возлюбленные! Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного...

ряет силу в ангельскую речь? Любовь. Что делает преизобильной лепту вдовы? Любовь. Что делает мудрой речь простеца? Любовь. Что никогда не изменяется, даже если изменяется все? Любовь; и лишь то есть любовь, что никогда не становится чем-то иным. Ведь и язычник воспевал любовь, ее красоту и силу; но все же его любовь могла превратиться во что-то иное, и это иное он воспевал едва ли не ярче. Любовь была прекрасна, она была прекрасней всего, однако месть была сладка, была всего слаще. И мысль язычника о любви и о небесном была столь несовершенна, таким самолюбивым виделось ему все и на небе, и на земле, что он мнил, будто та же сила, что щедро дарит людям радость любви, завистливо выговаривает себе и право мести, ведь нет ничего слаще мести. Неудивительно, что месть всегда таилась в любви язычника, что страх не был изгнан, даже если он и тонул в забвении; неудивительно, что в тишине плел сети враг, даже если любовь и почивала безмятежно, что гнев сидел, затаившись, в засаде и ждал подходящего случая; неудивительно, что, дождавшись, он буйно вскипал, вздымаясь во всей своей дикости; неудивительно, что он затоплял душу язычника, которая жадно пила его запретную сладость и убеждалась тем самым в своем родстве с небесным! Неудивительно, что в язычестве не была счастливой ни одна любовь, и не был счастлив ни один человек вплоть до наступления последних времен, которые могли лишь еще горше поглумиться над ним, внушая ему представление, будто он *был* некогда счастлив! Неудивительно, что к радости всегда примешивалась тревога, что мгновение было образом смерти и пролетало, страша душу даже в мгновение радости! И как бы мог язычник победить этот мир; но если он был бессилён победить его, как бы мог он сделать его своим союзником?!

Что никогда не изменяется, даже если изменяется все? Любовь; и лишь то есть любовь, что никогда не становится чем-то иным. Ведь и благочестивый иудей свидетельствовал о любви, но его любовь была чадом непостоянства и изменчивости, и он знал толк в ненависти к своему врагу. Даже если он и предоставлял отмщение Господу как только Ему принадлежащее, он не был чужд сладости мести; ведь сладко и сознание того, что Божье отмщение страшней всякого человеческого гнева, что если человек проклинает своего врага, то Господь проклинает нечестивого со всем потомством его на много колен. Неудивительно, что страх не смежал здесь очей, даже когда любовь была всего беззаботней; неудивительно, что злоба, даже когда любовь меньше всего желала бы этого, сидела в тиши и подсчитывала отданное и полученное, твое и мое! Неудивительно, что здесь ни одна любовь не была счастливой до наступления последних времен, когда эта любовь только и могла бы свести наконец со всеми свои *неверные*

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.